

# Натан Эйдельман



**«ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ...»**



OZON.RU



Натан Эйдельман

# Прекрасен наш союз...

Паровая типолитографія А.А.Лапудева  
Москва  
Георгіевскій переулокъ, домъ 19  
2014



Натан Яковлевич Эйдельман. Прекрасен наш союз... – Москва, Паровая типолитография А.А.Лапудева, 2014 – 199 с., илл.

Книга рассказывает о первом лицейском выпуске, о юном Пушкине и его друзьях, о том, сколь прекрасно, мощественно чувство дружбы, товарищества. В книгу включены стихи юного Пушкина и некоторых лицеистов, заметки, письма, воспоминания.

Издание рассчитано на читателя среднего и старшего школьного возраста.

© Н.Я.Эйдельман, 1982

© Паровая типолитография А.А.Лапудева, файлофикация, 2014

## ***ВВЕДЕНИЕ***

*Куда бы нас не бросила судьбина,  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,  
Отечество нам Царское село.*

Эта книга — история одного класса.

Класс как класс — тридцать человек; мальчишки как мальчишки, проучившиеся вместе с двенадцати до восемнадцати лет и после никогда о том не забывавшие.

Легко догадаться, что в этой книге читателю, конечно, встретятся школьные труды и весёлые проказы, юные споры и первая любовь, ожидание будущего и сожаление о прошедшем; всегдашнее (и в двадцать, и в сорок, и в восемьдесят лет) «а помнишь?..»; и традиционные вечера встречи в некий определённый день. Здесь будут и серьёзные, обидные объяснения с тем, кто казался всегда своим; но вдруг оказался совсем на себя непохож; здесь и первые утраты, прощание навсегда...

Книга о друзьях. Тот, кто её откроет, не сможет не задуматься о своём: а как же у меня, у нас всё было и будет? И почему порою именно так, как у них? И отчего же не так? И нам, которым ещё жить, нужно познакомиться с одним классом, который уже прошёл по жизни до конца. Прошёл много лет назад...

Важно ли, когда, в каком веке были молоды и состарились былые одноклассники? Сто, двести, две тысячи лет назад? Важно ли, горят у них в классной комнате электрические лампочки или свечи? Пересекают ли они свою страну на поезде, самолёте или в карете, на почтовых лошадях? Носят ли джинсы или камзолы, треуголки? Конечно, разница веков нам небезразлична. Конечно, каждая эпоха имеет свой неповторимый голос и стиль... Но сколько здесь общего! Разве они, юные прадеды, не любили, как правнуки, не мечтали, не умирали? Разве мы, современники космических ракет и цветного телевидения, если б вдруг были допущены на один из древних «традиционных сбо-

ров», не нашли бы, о чём поговорить, о чём спросить тех ребят; а они — нас?

К тому же об ушедших людях иногда легче составить представление, чем о близких современниках. Ведь былые столетия охотно (хотя порою и не сразу!) делятся с нами своими сочинениями, письмами, документами — самыми душевными, интимными, такими, которые даже близкий друг, любезный сосед сегодня ещё держит у себя, надеясь, что только сын или внук прочтёт, поймёт.

Глядя на себя и своих друзей как бы со стороны, «через другой век», через дела, мысли и документы давно ушедших людей, мы вдруг замечаем то, что вблизи, вплотную было почти неразличимо... И, устремляясь в прошлое, мы как будто соединяем длинной цепью наше сегодня и их далёко. Соединяем, и сразу по цепи «бежит ток», и становится ясным то, что именуют «связью времён», и огромного исторического расстояния как не бывало, и мы уже в компании тех ребят, а они с нами.

Какая хорошая вещь память, какая хорошая вещь история!

А если ещё на том, дальнем конце «цепи» оказывается одноклассник необыкновенный, юный чародей, которому подвластно всё — «И неба содроганье, и горний ангелов полёт...» — тогда ему и его друзьям совсем легко к нам пожаловать, ибо тот славный мальчишка, тот весёлый одноклассник легко и просто ведёт за собой всех своих друзей в историю, в будущее...

Именно поэтому мы приглашаем нашего современника отправиться совсем недалеко — всего на полтора-два столетия назад — в первые десятилетия XIX века.

Мы увидим быстрого мальчишку со светло-русыми кудрями, который расположился в карете рядом с важным господином, собственным дядей. Карете ехать из второй столицы в первую — и мальчика провожают отец, мать, брат, сестра, бабушка, тётки, произносятся важные и, к счастью, так легко забываемые напутствия; погружается сундучок с нужнейшими вещами, тётки дарят «сто рублей на орехи», и дядя даёт слово присматривать за родственником, впервые покидающим отчий дом; но, как только Москва остаётся позади, житейский опыт двенадцатилетнего племянника расширяется вследствие неотра-

зимой просьбы дяди одолжить ему «на неопределённый срок» полученные сто рублей.

Карета выезжает из Москвы на рассвете июльского дня так, чтобы заночевать в пути, затем проехать ещё сутки, опять заночевать, на третий же день к вечеру можно и успеть в «столичный город Санкт-Петербург».

Но ещё через короткое время придётся покинуть столичный город и, переместившись совсем немного, вёрст на двадцать к югу, увидеть старинные дворцы и галереи, мраморные «призраки героев», девушку, разбившую о камень свой бронзовый кувшин, —

*И дряхлый пук дерев, и светлую долину,*

*И зланных берегов знакомую картину.*

*И в тихом озере, средь блещущих зыбей,*

*Станицу гордую спокойных лебедей...*

Только не сидит ещё на скамейке небольшого садика тот бронзовый отрок, который в наши дни встречает гостей, подперев курчавую голову рукою. Пока ещё туда едет впервые в жизни отрок живой, повесёлый, непоседливый...

Едет в Царское Село. Город Пушкин. (А в пушкинские времена острили: «Город Лицей на 59-м градусе широты».)

Пушкинский выпуск. Пушкинский лицей. «Люди 19-го октября». Вот о каком классе будет идти рассказ, вот кто наши герои... Их дела, их дружба, их радость, их печаль, их мысли, может быть, станут нашими...

*Здравствуй, племя*

*Младое, незнакомое! не я*

*Увижу твой могучий поздний возраст.*

*Когда перерастёшь моих знакомцев*

*И старую главу их заслонишь*

*От глаз прохожего. Но пусть мой внук*

*Услышит ваш приветный шум, когда,*

*С приятельской беседы возвращаясь,*

*Весёлых и приятных мыслей полон,*

*Пройдёт он мимо вас во мраке ночи*

*И обо мне вспомнит.*

## ПУШКИНСКИЙ ВЫПУСК

1. Бакунин Александр Павлович (1799-1862).
2. Броглио Сильверий Францевич (1799-между 1822-м и 18-м).
3. Вольховский Владимир Дмитриевич (1798-1841), Суворочка.
4. Горчаков Александр Михайлович (1798-1883), Франт.
5. Гревениц Павел Фёдорович (1798-1847), Бегребниц.
6. Гурьев Константин Васильевич (1800-1833).
7. Данзас Константин Карлович (1801-1870), Медведь, Кабуд.
8. Дельвиг Антон Антонович (1798-1831), Тося.
9. Есаков Семён Семёнович (1798-1831).
10. Илличевский Алексей Демьянович (1798-1837), Олосенька.
11. Комовский Сергей Дмитриевич (1798-1880), Лисичка, Смола.
12. Корнилов Александр Алексеевич (1801-1856), Мосье.
13. Корсаков Николай Александрович (1800-1820).
14. Корф Модест Андреевич (1800-1876), Модинька, Дьячок Мордан.
15. Костенский Константин Дмитриевич (1797-1830), Старик.
16. Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846), Кюхля.
17. Ломоносов Сергей Григорьевич (1799-1857), Крот.
18. Малиновский Иван Васильевич (1796-1873), Казак.
19. Мартынов Аркадий Иванович (1801-1850).
20. Маслов Дмитрий Николаевич (1799-1856), Карамзин.
21. Матюшкин Фёдор Фёдорович (1799-1872), Федернелке, Плыть хочется.
22. Мясоедов Павел Николаевич (1799-1868), Мясожоров.
23. Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), Француз, Егоза.
24. Пуцин Иван Иванович (1798-1859), Большой Жанно, Иван Великий.
25. Ржевский Николай Григорьевич (1800-1817), Дитя, Кис.

26. Саврасов Пётр Фёдорович (1799-1830), Рыжий, Рыжак.
27. Стевен Фёдор Христианович (1797-1851), Швед, Фрицка.
28. Тырков Александр Дмитриевич (1799-1873), Кирпичный брус.
29. Юдин Павел Михайлович (1798-1852).
30. Яковлев Михаил Лукьянович (1798-1868), Паяс.

## ***1. ГОРОД ЛИЦЕЙ НА 59 ГРАДУСЕ***

19 октября 1811 года в Царском Селе тридцать мальчишек сели за парты и стали одноклассниками. Впрочем, их величали «первый курс Царскосельского Лицея», так что они могли считать себя и школьниками (им было в среднем лет по двенадцати) и студентами (потому что после окончания Лицея уже не надо было учиться ни в каком другом учебном заведении).

Ещё более года назад, 12 августа 1810 года, царь Александр I подписал проект, составленный всесильным в ту пору министром Михаилом Сперанским, о создании в двадцати верстах от столицы особого, закрытого учебного заведения, где небольшое число дворянских детей должно получать наилучшее образование, чтобы потом наилучшим образом участвовать в управлении и просвещении России.

Замыслы крупного государственного деятеля Сперанского шли далеко: он приготовил уже к этому времени проект постепенной отмены крепостного права в стране и ограничения самодержавия выборными учреждениями.

Царь Александр одно время поддерживал и поощрял эти прогрессивные идеи; ещё не кончилось (но уже подходило к концу) время, о котором Пушкин скажет после: *«дней Александровых прекрасное начало...»*

*«Прекрасное начало»* имело невзрачное и даже уродливое продолжение...

При всей умеренности, осторожности и медленности проектов Сперанского их дни были сочтены, и хотя министр ещё увидит открытие Лицея, но никогда не дожждётся того государственного устройства, где Лицей мыслился лишь одним из этажей звеньев, неограниченная монархия никак не желала ограни-



чиваться. Сперанского скоро вышлют из столицы, а юным лицеистам, когда выучатся, не велят Россию обновлять: наоборот, цветы просвещения должны давать плоды самовластия. Но это впереди, до этого далеко... Не только юные недоросли — даже умнейшие из отцов ещё не видят, не угадывают трагического противоречия, и, когда слух о Лицее пронёсся по столицам и губерниям, заволновались старинные фамилии, бросились искать влиятельных заступников, чтобы устроить сыновей в невиданное заведение, где, как сначала предлагалось, будут обучаться и великие князья, молодые братья императора Александра.

Члены царской фамилии в конце концов «не попали» в Лицей, меж тем летом 1811 года образовался конкурс, потому что на тринадцать мест было куда больше желающих. Одним (Горчакову) «может звучный титул (князь — Рюрикович); другим — важные посты, занимаемые родственниками: у Модеста Корфа отец — генерал, видный чиновник юстиции; десятилетний Аркадий Мартынов ещё мал для Лицея, но зато он крестник самого Сперанского, а отец его литератор, директор департамента народного просвещения: Ивану Малиновскому пятнадцать лет, он уже называется *«иностранной коллегии студент»*, но отец его, Василий Фёдорович, назначается директором Лицея и хочет «испытать» новое заведение на собственном сыне. У Феди Матюшкина мать пользуется покровительством вдовствующей императрицы, так же как родственники Вильгельма Кюхельбекера. Семья Есаковых — совсем небогатая: владеет лишь одним крепостным человеком, но сын Семён надеется на протекцию наследника престола. Сильвестра Броглио, отпрыска звучной, знатной итало-французской фамилии, принесли в Россию буйные ветры революции, наполеоновских войн, эмиграции (он родился в Италии); отец его прежде сражался за Францию, Италию, Соединённые Штаты, но теперь о помещении сына в Царскосельский Лицей просит русского императора.

Ещё и ещё перелистываем старинные документы и воспоминания. Козырем многочисленной семьи петербургского чиновника Пущина (десять детей!) является ходатайство престарелого деда-адмирала, который, явившись к министру просвещения Алексею Разумовскому с двумя внуками и узнав, что министр одевается, громко рыкнул на секретаря: *«Андреевскому*

кавалеру не приходится ждать, ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его». Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях». (По воспоминаниям Ивана Пущина.)

В новгородской глуши скромная семья капитана Тыркова тоже мечтает определить своё чадо в новое заведение — поддерживает же просьбу сосед по губернии, да какой: Гаврила Романович Державин! (Так первый раз престарелый поэт, бывший министр коснулся Лицея; о втором случае — кто же не знает, но мы и до него дойдём!)

Ещё и ещё — родители-царедворцы, или отставные, или невысокие чиновники; отсутствуют отпрыски богатейших фамилий вроде Строгановых, Юсуповых, Шереметевых (о последних Пушкин писал, что они всех, у кого менее пяти тысяч душ, считают мелкопоместными и не понимают, на какие средства живут эти бедняки). Аристократы своих детей в какой-то там Лицей не отдают (тем более, когда выяснили, что царские братья туда не определяются): ведь им пришлось бы в одном классе на равных учиться и, может быть, получать подзатыльники от мелкопоместных, малочиновных или (страшно подумать!), скажем, от Владимира Вольховского, сына бедного гусара из Полтавской губернии; мальчик идёт в Лицей вообще без протекции, а только как первый ученик Московского университетского пансиона. В лучшем случае князьям и графам пришлось бы в Лицее водиться с Пушкиным — фамилия, конечно, древняя, но столь захиревшая!

И присмирел наш род суровый, И я родился мещанин...

Какими же судьбами московского мальчика Александра Пушкина занесло на целых три градуса широты, на сотни вёрст от дома?

Примерно в 1830 году, на два десятилетия позже первых лицейских дней, Пушкин взял большой двойной лист бумаги и начал составлять план.

*«Семья моего отца — его воспитание — французы-учителя... Отец и дядя в гвардии...»*

План, или «Программа записок», воспоминаний, начинающихся с молодости отца и дяди, то есть лет за двадцать-

тридцать до рождения Александра Сергеевича, План медленно движется по XVIII столетию — вот мелькнули слова *«Рождение моё. Первые впечатления...»*. Пошли события XIX века. Затем *«Лицей»*. Имена друзей, наставников; около половины «программы» — о Лицее, лицеистах. Пушкин мечтает записать свою лицейскую юность и двинуться дальше: через три года начнёт набрасывать «вторую программу записок», продолжение первой: *«Кишинёв. — Приезд мой из Кавказа и Крыму...»*

Не успел. Вероятно, даже не начал записок, которые должны были явиться на свет вместо автобиографии, составленной ещё в молодые годы, но в основном — по словам самого автора сожжённой *«в конце 1825 года, при открытии несчастного заговора»*.

Если б мы могли прочесть лицейские воспоминания поэта, где каждый пункт «программы» расшифрован его неповторимой, лёгкой и точной прозой! Но нет этих воспоминаний. Потеря почти невозполнима! Мы говорим почти, потому что пытаемся и будем пытаться всё же собрать разные пушкинские записки о Лицее. Не оставив мемуаров, поэт тем не менее пишет о Лицее всё время: в стихах, прозе, статьях, письмах... Многие события и переживания его отрочества, юности отразились, запечатлелись в стихах, написанных тогда же или чуть позже; порою давний эпизод, анекдот вдруг возвращается «поэтическим эхом» лет через десять-двадцать.

Выбрав из Полного собрания пушкинских сочинений «лицейские строки», убедимся, что это немало. Десятки раз в стихах, прозе и письмах поэта находим слова «лицей», «лицеист», сотни раз встречаются слова «дружба», «дружеский», «дружество»...

Расположив, насколько возможно, лицейские строки Пушкина в том порядке, в каком шли затронутые там события, получим нечто вроде рассказов, дневников, мемуаров Александра Сергеевича Пушкина о своём классе, одноклассниках, лицейской дружбе.

Подлинные строки Пушкина о его школьных годах — стержень, основа нашего повествования. Эти строки будут выделяться, но затем, после пушкинского воспоминания о Лицее, будет предоставляться слово друзьям и современникам поэта,

сохранившимся документам 1-го лицейского курса, и мы постараемся с их помощью узнать у лицейских одноклассников о том, что нас интересует более всего, — о «любви и дружестве».

Итак, в путь — вслед за пушкинским рассказом о Лицее, рассказом, который начинается со времён куда более ранних, чем Лицей...

Эта обширная фамилия дала нескольким государствам немало полководцев, министров, авантюристов, меценатов, революционеров. Один из крупнейших физиков современности — де Бройль — тоже дальний родственник лицеиста Бруглио.

## **II. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ**

*«Рождение моё. Первые впечатления. Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня. Отъезд матери в деревню. — Первые неприятности. — Гувернантки. Ранняя любовь. — Рождение Льва. — Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор. — Русло. — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению. Меня везут в П. Б.»*

Таковы первые записи поэта в «Программе записок».

Ещё ни одного лицейского имени... Хорошо знакомые лица (мать, няня, брат Лев, или Левушка) соседствуют с малоизвестными или совсем неизвестными гувернантками, гувернёрами.

Смерть шестилетнего брата Николая — *«Первые неприятности»* — была лишь одной из запомнившихся детских горестей. Среди первых неприятностей могла быть анекдотическая, сравнительно благополучно ещё окончившаяся встреча Александра Сергеевича с Павлом I. *«Видел я трёх царей, — вспомнит поэт, — первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку».*

Не пройдёт и нескольких месяцев после той встречи, как будет объявлено, что государь скончался от «апоплексического удара»; впрочем, все скоро узнали, что императора придушили заговорщики. Началось царствование Александра I.

*«Видел я трёх царей... Второй меня не жаловал».*

Однако неприятности от «второго царя» ещё впереди, пока же нестерпимое состояние мальчика угадывается по сохранившимся воспоминаниям старшей сестры Ольги и некоторых других спутников его детства. Мы знаем, хотя и в самых общих

чертах, что был конфликт со старшими, холодность матери, эгоизм отца; болезненные оскорбительные насмешки над мальчиком, который в семь, восемь, десять лет уже знаком

*...с природной простотой,  
С философической забавой  
И с музой резвой и молодой...  
Вот мой камин — под вечер тёмный,  
Осенней бурною порой,  
Люблю под сению укромной  
Пред ним задумчиво мечтать,  
Вальтера, Виланда читать,  
Или в минуту вдохновенья  
Небрежно стансы намарать  
И жечь потом свои творенья...*

Это стихотворное воспоминание послано шестнадцатилетним поэтом-лицеистом своему однокласснику Павлу Юдину. Таким видит Пушкин-юноша Пушкина-мальчика, который легко переходит от «небрежных стихов» к воинственному азарту:

*Блеснув узорным чепраком,  
В блестящем ментии сиянье  
Тусар промчался под окном...  
И где вы, мирные картины  
Прелестной сельской простоты?  
Среди воинственной долины  
Ношусь на крыльях я мечты,  
Огни во стане догорают;  
Меж них, окутанный плащом,  
С седым, усадым казаком  
Лежу — вдали штыки сверкают,  
Лихие ржут, бразды кусают,  
Да изредка грохочет гром,  
Летя с высокого раската...*

И наконец, та «ранняя любовь», которая упоминается и в «Программе записок»:

*Подруга возраста златого,  
Подруга красных детских лет,  
Тебя ли вижу, взоров свет,  
Друг сердца, милая Сушкова?*

*Везде со мною образ твой,  
Везде со мною призрак милый;  
Во тьме полуночи унылой,  
В часы денницы золотой.*

Между тем, по воспоминаниям сестры поэта Ольги Сергеевны в доме Пушкиных собиралось немало блестящих, интересных людей. Кроме образованных французов, весёлые просвещённые родственники, несколько поэтов, в том числе молодой Батюшков. Однажды целый вечер пятилетний Александр Пушкин сидит напротив Карамзина и «вмешивается» в его разговоры. Пушкин-отец позже утверждал, будто ребёнок *«уже понимал, что Карамзин — не то, что другие»*.

Девятилетнему мальчику, естественно, хочется попробовать себя в искусстве подражания и сделаться автором не хуже тех, которых слышал. В тетрадку заносятся первые пьески, басни. И вот первое (если бы последнее!) наказание за поэзию: гувернантка похищает тетрадку и, отдавая её гувернёру Шеделю, жалуется, что месье Александр не знает никогда своего урока именно потому, что *«занимается таким вздором»*. В самом деле, мальчик уроков решительно не учил, но, обладая изумительной памятью, успевал на ходу запомнить всё, что отвечала перед ним усердная сестра. Хуже бывало, однако, когда учитель спрашивал его раньше сестры...

И вот корень зла обнаружен. Гувернёр изучает конфискованную тетрадку и хохочет. Маленький автор плачет и в пылу оскорблённого самолюбия отправляет стихи в печку.

Другой француз, учёный и образованный, господин Жилле, наблюдая за мальчиком, заметит:

*«Чудное дитя! как он рано всё начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребёнок жил и жил: вы увидите, что из него будет»*.

Позже, сойдясь с ровесниками, Пушкин обменяется воспоминаниями долинейских лет и узнает, как порою сходно, а иногда совсем непохоже все они жили, огорчались, радовались...

Судьба одного из них, того, кто впоследствии войдёт в круг самых близких друзей, Пушкина особенно занимает.

*«Дельвиг родился в Москве (1798 году, 6 августа). Отец его, умерший генерал-майором в 1828 году, был женат на девице Рахмановой. Дельвиг первоначальное образование получил в частном пансионе; в конце 1811 года вступил он в Царскосельский лицей. Способности его развивались медленно. Память у него была тупа, понятия ленивы. На 1-ом году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нём заметна была только живость воображения. Однажды вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 18-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно действовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошёл до нашего директора Малиновского, который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи, столь же невинной, как и замысловатой, и решился её поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покамест он сам не признался в своём вымысле. Будучи ещё пяти лет отроду, вздумал он рассказывать о каком-то чудесном видении и смутил им всю свою семью. В детях, одарённых игривостью ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямоте. Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания».*

Эти воспоминания о близком друге — Дельвиге Пушкин записал за несколько лет до собственной гибели, когда самого Дельвига уже не было на свете. Одна фраза насчёт детей, «одарённых игривостью ума», у которых «склонность ко лжи не мешает искренности и прямоте», — кажется, эта фраза не столько о Дельвиговой юности, сколько о своей (обвинения, насмешки старших, не отличающих лживости от фантазии и воображения!). Правда, в отличие от будущего друга Пушкин не только знал в совершенстве французский, но, можно сказать, выучил наизусть всю обширную отцовскую библиотеку, состо-

явшую из сотен французских томов, но и его постоянно журили за лень, неловкость, молчаливость, и ребёнок спасался от попреков либо у няни Арины Родионовны, либо у бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Позже, в Лицее, когда Дельвиг и Пушкин узнают друг друга, они вместе будут восхищаться прекрасными письмами бабушки, её сильной и простой русской речью...

Но в первые годы XIX столетия во многом сходные, во многом различающиеся дороги детства ещё не предвещают завтрашним одноклассникам их лицейского будущего.

Меж тем пока три десятка дворянских мальчиков, или, как говорили в ту пору, «недорослей», учатся ходить, читать, мечтать; пока мальчики достигают, не ведая друг о друге, лицейского возраста, павловские дни сменяются александровскими. Наполеон завоёвывает полмира, русское войско побивает шведов, турок, персиян; Крылов пишет «Квартет» и «Демьянову уху», Державин бросает оды и принимается за драмы, Радищев отравится...

Мальчики же однажды покинут дома-теплицы, оденутся в синие мундиры, белые панталоны и треугольные шляпы, познакомятся — и начнётся их время.

Антон (или Тося) Дельвиг никогда не участвовал в сражениях и походах против Наполеона, но почти всё детство провёл в Москве, обитая в Кремле, в комендантском доме (где в ту пору служил отец), совсем недалеко от квартиры Пушкиных.

Кроме Пушкина и Дельвига ещё семеро москвичей доставляются в Царское Село из второй столицы.

Остальным ехать в Лицей недалеко: из Петербурга (только Фридриху — Фрицке Стевену — из Финляндии, где служит его отец).

Немногие, как Пушкин и Дельвиг, до того *«учились понекому чему-нибудь и как-нибудь»* дома, у гувернёров; шесть москвичей уже успели познакомиться на занятиях в очень известном учебном заведении — Московском университетском благородном пансионе, то есть, выражаясь сегодняшним языком, в «специальной школе-интернате» при Московском университете. Это Владимир Вольховский, Фёдор Матюшкин, Константин Данзас, Михаил Яковлев, Дмитрий Маслов, Сергей Ломоносов и Николай Ржевский.



Прежде знали друг друга и трое петербуржцев, оказавшихся в одном классе Санкт-Петербургской гимназии: Иван Малиновский, Александр Горчаков, Алексей Илличевский.

И так же, возможно, все окончили бы курс наук: каждый, как «родители приказали» — кто в пансионе, кто в гимназии или дома, и не существовало бы никакого пушкинского класса...

Так бы и не сошлись, если бы однажды не было произнесено знаменитое и важное слово «Лицей» и

*«...наш круг судьбы соединили».*

*«Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей»*

Мы не слышим, только угадываем, какие разговоры ведутся в семье Пушкиных весной 1811 года. Надо определять сына Александра к серьёзному учению — дома более нельзя: «*нестерпимое состояние*», то есть холодность матери, безразличие отца. В ту пору были в моде «*езуиты*», то есть пансионы, где опытные, знающие католические (иезуитские) аббаты по своему воспитывали и обучали детей российских дворян; некоторые будущие декабристы прошли, между прочим, через их руки, и, кто знает, как бы сложилась юность поэта, если бы родители (как собирались сначала) определили его к иезуитам? Однако на пути умнейший, доброжелательный и влиятельный Александр Иванович Тургенев. Он произносит: «Лицей!»

В годовщину гибели своего сына Сергей Львович Пушкин запишет:

*«Александр Иванович Тургенев был единственным орудием помещения его в Лицей, и через 25 лет он же проводил тело его к последнему жилищу. Да узнает Россия, что она Тургеневу обязана любимым ею поэтом!»*

Вот каким образом двенадцатилетний Александр Пушкин оказывается в почтовой карете вместе со знаменитым дядюшкой поэтом Василием Львовичем. Сын прощается с родителями (как оказалось на три года).

Москву же увидит только через пятнадцать лет, когда фельдъегерь доставит его из Михайловской ссылки к новому царю — Николаю I!

Но это будет совсем другая эра.

### **III. ОТКРЫТИЕ**

*«Лицей. Открытие. Государь. Малиновский. Куницын. Аракчеев».*

*Вы помните: когда возник лицей,  
Как царь для нас открыл чертог царицын.  
И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.  
Тогда гроза двенадцатого года  
Ещё спала. Ещё Наполеон  
Не испытал великого народа  
Ещё грозил и колебался он.  
Вы помните...*

1 октября 1811 года — первый, самый первый лицейский праздник. Они уже познакомились, пригляделись — незадолго перед тем вместе трепетали на приёмных экзаменах. Поэтому, пока важные гости занимают свои места, можно вспомнить, как несколько месяцев назад впервые все встретились, и Пущин видел, чувствовал то же, что и многие другие:

*«У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал.*

*Вошёл какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: «Ал. Пушкин!» — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несомненно сближающему, только я его заметил с первого взгляду. Ещё вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, — только чуть ли не В. Л. Пушкин, привёзший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живёт у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться, Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.*

*Скоро начали всех вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после кото-*

рого все постепенно разъезжались. Всё кончилось довольно поздно».

Таким образом, у них тридцати лицейских уже имеются первые общие воспоминания: экзамены, когда выясняется, что рыжый Данзас из рук вон плохо изъясняется по-русски, зато Дельвиг по-французски удостоился оценки «преслабо»; когда о Пушкине записали, что «в познании языков: российского — очень хорошо, французского — хорошо, немецкого — не учился, в арифметике знает до тройного правила, в познании общих свойств тел — хорошо, в начальных основаниях географии и начальных основаниях истории — имеет сведения»; а насчёт Пуцины через несколько дней министр Разумовский напишет дедушке-адмиралу, что оба его внука выдержали экзамен, но в Лицей можно принять только одного, так как правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением, «На волю деда отдавалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее» (из воспоминаний Ивана Пуцины).

Пушкин, Пуцин и ещё несколько мальчиков неплохо узнали друг друга и в общих прогулках по Летнему саду, и на квартире будущего директора Малиновского, «куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина».

«Все мы, — вспоминает дальше Пуцин, — видели, что Пушкин нас опередил, многое прочёл, о чём мы и не слыхали, всё, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы... с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым — признак доброй почвы. Всё научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, пры-

*гать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие, бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нём: видишь, бывало, его поглощённым не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли...»*

За лето и осень 1811 года «милый лицейский народец» уже немало «принюхался» друг к другу, так что им и не так страшно 1-го октября в Екатерининском дворце на торжественной церемонии открытия их Лицея в присутствии царя, царского семейства, членов Государственного совета, министров, придворных и, как сказано в официальном документе, «прочих первенствующих лиц». Рядом с царём на открытии сидят предопальный Сперанский и всё более крепнувший и берущий власть Аракчеев.

Директор Малиновский говорит еле слышно, и все думают, что это из-за волнения пред царствующими особами, а ему было противно читать речь, написанную за него важным лицейским родителем Иваном Ивановичем Мартыновым. «Мы, школьники, — расскажет Пушкин, — больше всего были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышали». Зато профессору права Куницыну никто речи не писал: он не читал по бумаге, а говорил об обязанностях гражданина и воина.

*«Публика при появлении нового оратора под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживилось, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклонном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест».*

Вечереет, падает ранний снег. Начальство отправляется на ужин (стоивший министерству просвещения одиннадцать тысяч рублей). Быстро поедают свои пирожки и суп тридцать лицей-

стов, и тут же первый лицейский анекдот, сохранённый всё тем же Иваном Пушциным:

*«Императрица-мать Мария Фёдоровна решила узнать: хорошо ли кормят? Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила его: «Карош суп?» (Царица хоть и прожила в России тридцать пять лет, но по-русски говорила нечисто.) Корнилов, испугавшись или смутившись, отвечал почемуто по-французски: «Oui monsieur!»' Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов тут же попал на зубок; долго преследовала его кличка: Мосье.*

А затем мальчишки, сбросив парадную одежду, играют в снежки в старинном, прекрасном саду у дворца, воздвигнутого великим Растрелли, «не подозревая в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам». «Шуметь нельзя!» — объясняют им в первые дни, а они просят от первого до последнего.

*В пылу восторгов скоротечных,  
В бесплодном вихре суеты,  
О, много расточил сокровищ я сердечных  
За недоступные мечты,  
И долго я блуждал, и часто, утомлённый,  
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,  
Я думал о тебе, предел благословенный,  
Воображал сии сады.  
Стоят населены чертогами, вратами,  
Столпами, башнями, кумирами богов,  
И славой мраморной, и медными хвалами  
Екатерининских орлов.  
Садятся призраки героев  
У посвящённых им столпов,  
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строёв,  
Перун кагульских берегов.  
Вот, вот могучий вождь полуношного флага.  
Пред кем морей пожар и плавал и летал.  
Вот верный брат его, герой Архипелага,  
Вот наваринский Ганнибал.*

*Среди святых воспоминаний  
Я с детских лет здесь возрастал...*

Это написано много лет спустя, когда после долголетней разлуки выпускник Лицея Александр Пушкин посетил край своей юности — *«город Лицей на 59-м градусе северной широты»*.

После страшных фашистских разрушений Лицей, Екатерининский дворец и парк ныне восстановлены и ожили...

Тот, кто побывает там, сразу поймёт каждую строку пушкинского воспоминания, легко отыщет среди зелёной сени у озера или в зимней белизне *«чертоги, врата»*, статуи, обелиски, посвящённые блестящей победе Румянцева над турками при Кагуле; Ростральную колонну в память Чесменской морской победы, где высечены имена главных героев, и в их числе двоюродного деда одного из лицейских — Ивана Абрамовича Ганнибала.

Мы бы много больше знали о ранних школьниках 1811 года, если б могли прочесть первые лицейские письма. Но родственники никак не догадывались, что любой листочек, каждая запись о первом лицейском выпуске будут когда-нибудь так цениться, разыскиваться... Например, точно известно, что Александр Пушкин много писал любимой сестре о лицейских впечатлениях, но не сохранились те письма...

*Скажи, куда девались годы,*

*Дни упований и свободы.*

*Скажи, что наши, что друзья-*

*Где эти липовые своды?*

*Где молодость? Где ты? Где я?*

#### ***IV. МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КЕЛЬЯ***

*В те дни, когда в садах Лицея*

*Я безмятежно расцветал,*

*Читал охотно Апулея,*

*А Цицерона не читал,*

*В те дни в таинственных долинах,*

*Весной, при кликах лебединых,*

*Близ вод, сиявших в тишине,*

*Являться муза стала мне.*

*Моя студенческая келья  
Вдруг озарилась: муза в ней  
Открыла пир молодых затей,  
Воспела детские веселья,  
И славу нашей старины,  
И сердца трепетные сны.*

На четвёртом этаже отведённого Лицею флигеля Царско-сельского дворца над дверью чёрная дощечка с надписью: «**№ 13 Иван Пущин**», жилец этой комнаты взглянул налево, увидел — «**№ 14 Александр Пушкин**» и очень обрадовался такому соседству.

И сегодня на лицейских дверях таблички: некоторые двери приоткрыты и виден брошенный мундир, столик, рукомоynyк, перегородка, через которую так легко переговариваться!

Лицейских было тридцать человек — затем стало 29 (Константина Гурьева вскоре забрала мать), номеров же было пятьдесят.

*«Так и вижу номера над дверьми и на левой стороне воротника шинели на квадратной тряпочке чернилами»,* — вспомнит 76-летний Иван Малиновский, и по просьбе академика Якова Грота (тоже лицеиста, но более младшего выпуска) он почти без ошибок назовёт, кто в какой комнате помещался (небольшие неточности сам Грот и выправит):

**№ 6** Юдин, **7** Малиновский, **8** Корф, **9** Ржевский, **10** Стевен, **11** Вольховский, **12** Матюшкин, **13** Пущин, **14** Пушкин, **15** Саврасов, **16** Гревениц, **17** Илличевский, **18** Маслов, **19** Корнилов, **20** Ломоносов;

все они окнами ко дворцу, а в «ограду»:

**29** Данзас, **30** Горчаков, **31** Броглио, **32** Тырков, **33** Дельвиг, **34** Мартынов, **35** Комовский, **36** Костенский, **37** Есаков, **38** Кюхельбекер, **39** Яковлев, **40** Гурьев, **41** Мясоедов, **42** Бакунин, **43** Корсаков.

«*14*» — так Пушкин подписывает некоторые свои письма и много лет спустя.

«*С мнением № 8 не согласен*»: это значит — с мнением Корфа.

«*В каждой комнате,* — вспомнит Пущин, — *железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания,*

*вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами».*

Лицей — маленький, четырёхэтажный городок. Инспекторы, гувернёры живут внизу — там же и хозяйственное управление. Второй этаж — это столовая, больница, канцелярия, знаменитый конференцзал (именно здесь Пушкин будет читать стихи Державину). Третий этаж — учебный: классы, кабинет физики, кабинет для газет и журналов, библиотека, «рекреационная зала», то есть место для отдыха и забав... Глобус, географические карты, на которых ещё нет Антарктиды, истоков Нила, где Сахалин «ещё не остров», где обозначены десятки самостоятельных германских княжеств, но зато Южная и Центральная Америка полностью окрашена в «испанскую» и «португальскую» краски.

На всех этажах и на лестницах горели лампы (разумеется, не электрические). Память сохранила то, что казалось необыкновенным, прежде непривычным: в двух средних этажах были паркетные полы. В зале — огромные зеркала во всю стену, и мебель обита штофом — тяжёлым узорчатым шёлком...

Пушин находил, что *«при всех этих удобствах нам нетрудно было привыкнуть к новой жизни»*. Тем более что лицейским был предложен заранее выработанный режим, «правильные занятия»: подъём по звонку в шесть утра. Одевались, шли на молитву.

От 7 до 9 часов — класс, то есть учебные занятия.

В 9 — чай с белой булкой: никаких завтраков! Хотя все лицеисты были из «благородного сословия» и, случалось, швыряли плохо выпеченные пирожки в бакенбарды Золотарёву (помощник надзирателя по хозяйственной части — сегодня мы сказали бы «завхоз»), но воспитатели стремились отучить их от изнеженности и роскоши.

Сразу после чая — первая прогулка до десяти часов.

*Вы помните ль то розовое поле,  
Друзья мои, где красною весной,  
Оставя класс, резвились мы на воле  
И тешились отважною борьбой?  
Граф Брозльо был отважнее, сильнее,*



*Комовский же — проворнее, хитрее;  
Не скоро мог решиться жаркий бой.  
Где вы, лета забавы молодой?*

Гаврилиада, 1821

Особенно весело гулялось летом, когда Царское Село становилось «Петербургом в миниатюре», когда кругом — люди, музыка, представления. Осенью же, как пожалуется в одном из писем Илличевский, *«всё запрётся в дому, разъедется в столицу или куда хочет, а чем убить такое скучное время? Вот тут-то поневоле призовёшь к себе науки»*.

*От 10 до 12 — класс.*

*С 12 до часу — вторая прогулка.*

*В час — обед из трёх блюд. Сначала давали каждому по полстакана портера — потом нашли это баловством: запивали квасом и водою.*

*От 2 до 3 — чистописанье или рисованье.*

*От 3 до 5 — класс.*

*В 5 часов — чай;*

*до 6 — третья прогулка; гуляли обязательно, в любую погоду; потом повторение уроков, или «вспомогательный класс», то есть дополнительные занятия для отстающих.*

Для особо провинившихся карцера сначала не заводили (появился позже), телесных наказаний никогда не было: на этом настаивал и этого добился Малиновский — а ведь в большинстве учебных заведений били, и даже императрица Мария Фёдоровна при обучении своих младших детей Николая и Михаила рекомендовала педагогам при случае применять силу... В Лицее же изредка только «арестовывали» ученика в его собственной комнате и у двери ставили дядьку на часах...

По средам и субботам бывало вечернее «танцеванье или фехтованье».

Каждую субботу — баня. За чистотой следили строго. Как водилось в дворянском обществе, за лицеистами ходило несколько дядек: они чистили сапоги, платье, прибирали в комнатах. Впрочем, и здесь привилегии, льготы воспитанников сочетались с весьма суровыми, даже спартанскими, деталями быта — казённое платье, к примеру, так редко заменяли, что многие

даже в церковь являлись в заплатках... Кстати, сохранилось немало свидетельств о добрых, даже дружеских, отношениях воспитанников с «обслуживающим персоналом»: опросив друзей поэта, известный исследователь его жизни и творчества П. И. Бартенев запишет: *«Пушкин легко сходилась с мужиками, дворниками и вообще с прислугой. У него были приятели между лицейскою и дворцовою царскосельскою прислугой».*

Но вернёмся к лицейскому распорядку дня... В половине девятого — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов отдых, развлечения. В зале в это время, по словам Пущина, *«мячик и беготня»* — сегодня мы сказали бы спортивные упражнения.

В 10 — вечерняя молитва, сон.

Горят ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходит по коридору.

Им в общем неплохо вместе, этим мальчишкам, которым; правда, нельзя ездить домой и очень трудно даже изредка видиться с родителями. Уроков немало, зато немало и забав. Получив задание от Кошанского описать восход солнца в стихах, туповатый Мясоедов поражает всех первой строкой (как оказалось, впрочем, списанной у одной поэтессы):

*Блеснул на западе румяный царь природы...*

Услышав, что солнце у Мясоедова восходит на западе, Пушкин (а по другим сведениям — Илличевский) приделывает окончание:

*Блеснул на западе румяный царь природы,*

*И изумлённые народы*

*Не знают, что начать:*

*Ложиться спать или вставать.*

Василий Фёдорович Малиновский хочет занять, просветить, развить своих воспитанников.

Не пропускаются их дни рождения...

Соревнования по иностранным языкам: кто случайно заговорит по-русски, того штрафуют.

Первой же зимой, 12 декабря, в день рождения царя, состоялся и бал с иллюминацией. Собравшиеся в зале сами избирают из своей среды наиболее отличившихся в учении и поведе-

нии. Пушкин не входит в это число — с самого начала плохо гармонирует с Александром I и его праздниками...

На квартире гувернёра Чирикова — литературные собрания, на которых участники по очереди рассказывают повесть, начатую одним, продолженную другим, третьим, в зависимости от охоты и фантазии. Лучший рассказчик — Дельвиг. Товарищи знали, что его никогда нельзя заставить врасплох — всегда наготове интрига, завязка, развязка... Даже Пушкин уступал земляку и пускался на хитрости. Так однажды он изумляет и восхищает присутствующих, складно пересказывая одно сочинение Жуковского, зато позже действительно сочиняет две повести (сюжет которых двадцать лет спустя ляжет в основу «Метели» и «Выстрела»).

В ту осень 1811 года, их первую осень, вся Европа замерла под наполеоновским сапогом: от Норвегии до Гибралтара, от Голландии до Немана — всё в его руках. Но — *«ещё грозил и колебался он»*.

*Ещё восемь месяцев тем ребятам мирно учиться, при-  
сматриваясь друг к другу и наставникам.*

## ***V. НАСТАВНИКИ***

*Наставникам, хранившим юность нашу,  
Всем честию — и мёртвым и живым,  
К устам подъяв признательную чашу,  
Не помня зла, за благо воздадим.*

Наставников было сначала одиннадцать (директор, учителя, гувернёры). Кроме того, в «лицейском штате» числился надзиратель, помощник гувернёра, доктор и четверо — при хозяйстве и бухгалтерии.

Кто лучший?



**Василий Фёдорович Малиновский:** это имя трижды мелькнёт в «Программе записок». Написанная за него речь, с которой приходилось начинать, — символ многих, очень многих трудностей; того, что с первого дня испытывает этот замечательный человек, образованный, умный, мечтающий о реформах, существенных переменах в стране, где примут деятельное участие Лицей и лицеисты. Хотя у Василия Фёдоровича Малиновского генеральский чин (действительного статского советника), он хорошо помнит своих недавних предков-разночинцев. Мы понимаем, как много личного вкладывал этот человек, например, в характеристику отличных успехов Владимира Вольховского. В письме к его матери директор подчёркивал, что особенно радуется успехам воспитанника, всего достигшего исключительно своими силами, не имея знатного имени или особенного богатства.

Ни ученики, ни даже родной сын Иван в ту пору не могли в полной мере понять, как с первых дней обступали прогрессивного, мыслящего директора аракчеевские надзиратели; как, несмотря ни на что, он поощрял других педагогов углублённо за-

ниматься наукой, печататься; как опасно и трудно было Малиновскому воспитывать в детях то, чего он желал, и, по всей вероятности, эта нервная, трагическая ситуация немало ускорила его конец.

Александр Петрович Куницын: адъюнкт, профессор нравственных наук, единомышленник директора.

*Куницыну дань сердца и вина!*

*Он создал нас, он воспитал наш пламень,*

*Поставлен им краеугольный камень,*

*Им чистая лампада возжжена...*

№13 вспомнит о соседе:

*«Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессора (печатных руководств тогда ещё не существовало), у него и в обычае не было; всё делалось livre ouvert (без подготовки, с листа — франц.). Это вызывало у самого Куницына сложное чувство, отразившееся в характеристике: «Пушкин весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне непривлечен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики...»*

Более холодные воспитанники, не склонные к пламени и «чистой лампаде», однако, не находили в Куницыне ничего особенного.

Модест Корф, Модинька, находит лучшим педагогом де Будриса, между прочим родного брата знаменитого вождя французской революции Жана Поля Марата.

Словесник **Николай Фёдорович Кошанский** и позже заменивший его добродушный **Александр Иванович Галич** — как бы они удивились, если бы могли хоть лет на десять вперёд предвидеть некоторые плоды своих уроков «из латинского и российских классов».

*«По части словесности, — с гордостью отчитывается Кошанский, — за год читали избранные места из од Ломоносова и Державина и лучшие из басен Хемницера, Дмитриева и Крылова. Сие чтение сопровождается было приличным разбором и объяснением, сообразным с летами и понятием воспитанников.*

*Лучшие из стихотворений выучиваемы были наизусть. Из риторики показаны основания периодов и различные роды их сопряжений с лучшими примерами».*

В стихах, учитель предпочитает старинный «высокий стиль». «Воспитанника Пушкина» он ставит на шестнадцатое место, сразу после «воспитанника Матюшкина».

Пожалуй, самый ненавистный — преподаватель немецкого языка **Гауеншильд** (тайная кличка Австриец; мы ещё увидим, как ему достанется от лицейских рифмоплётов). Математика же **Карцева** за смуглость и, может быть, злой характер прозывают Черняком; его никто, кроме Вольховского, не слушает: в ту гуманитарную эпоху математика ещё не заняла того места, как в следующем веке; многие лицеисты вообще не видят в ней проку:

*О Урании чадо тёмное,  
О наука необъятная,  
О премудрость непостижная,  
Глубина неизмеримая!  
Видно, на роду написано  
Свыше неким тайным Промыслом  
Мне взирать с благоговением  
На твои рога ты прелести,  
А плодов твоей учёности  
Как огня бояться лютого!*

Алексей Илличевский, поощряемый Пушкиным, «эпиграммит» довольно зло. Разгромив математику, он принимается и за профессора:

*Могу тебя измерить разом,  
Мой друг Черняк!  
Ты математик — минус разум,  
Ты злой насмешник — плюс дурак.*

Пушин же более добродушен (правда, много лет спустя): «В математическом классе вызвал Пушкина раз Карцев к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и всё писал молча какие-то формулы. Карцев спросил его наконец: «Что же вышло? Чему равняется  $\text{икс}$ ?» Пушкин, улыбаясь, ответил: нулю! «Хорошо! У вас, Пушкин, в моём

классе всё кончается нулём. Садитесь на своё место и пишите стихи».

Куда легче было ужиться с историком **Иваном Кузьмичом Кайдановым**. Однажды он слышит от Пушкина и Пущина весьма вольные стихи и не слишком обижается, но берёт Пушкина за ухо и тихонько говорит ему: *«Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать её. И вы, Пущин, не давайте волю язычку»*.

Впрочем, лицеисты вспоминали об одной уморительной странности своего историка: обращаясь к кому-нибудь из них, он слово «господин» всегда ставил после фамилии: Корф-господин, Пушкин-господин и т. д. Вежливый с толковыми, способными учениками, он немилосердно ругал плохих и особенно не терпел лентяя Ржевского: *«Ржевский-господин, животина-господин, скотина-господин...»*

Ещё и ещё профессора.

Вышедший в науку из придворных певчих, высокопарный «чистописатель» **Фотий Петрович Калинин**; удержавшийся в Лицее на много десятилетий гувернёр **Сергей Гаврилович Чириков**... Ещё один педагог при всей «причудливости» своей, может, и соперничал бы с лучшими, если б не был довольно рано изгнан из Лицея: **Александр Николаевич Иконников**.

Пушкин: *«Вчера провёл я вечер с Иконниковым. Хотите ли видеть странного человека, чудака, — посмотрите на Иконникова. Поступки его — поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату, видите высокого, худого человека, в чёрном сертуке, с шеей, окутанной чёрным изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчёсаны; он стоит задумавшись, кулаком нюхает табак из коробочки, он дико смотрит на вас — вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг — он вас не узнаёт, вы подходите, зовёте его по имени, говорите своё имя — он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмёт руку, хохочет задушевым голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трёт себе лоб, ерошит голову, вздыхает. Перед ним карафин воды; он наливает стакан и пьёт, наливает другой, третий, четвёртый, спрашивает ещё воды и ещё пьёт, говорит о своём бедном положении. Он не*

*имеет ни денег, ни места, ни покровительства, ходит пешком из Петербурга в Царское Село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок, рассыпается в благодареньях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеянье, ему оказанное, легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен и честолюбив. Иконников имеет дарованья, пишет изрядно стихи и любит поэзию; вы читаете ему свою пьесу — наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко: зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешиш он часто, а жалок почти всегда».*

*«Не помня зла, за благо воздадим...»*

Можно принять за окончательную истину обычные детские насмешки над учителями. Можно, наоборот, возвысить этих педагогов, вспоминая, что вышло из их учеников... Вероятно, не надо впадать ни в какую из крайностей. Скажем так: одни не помешали, другие (может, сами того не подозревая) помогли Пушкину стать Пушкиным, а его друзьям — чем они стали...

Лицейсты приглядываются к начальству, начальники — к лицеистам. Вот одна из первых характеристик:

*«Кюхельбекер Вильгельм способен и весьма прилежен; беспрестанно занимаясь чтением и сочинениями, он не радуется прочем, оттого мало в вещах его порядка и опрятности. Впрочем, он добродушен, искренен с некоторою осторожностью, усерден, склонен ко всегдашнему упражнению, избирает себе предметы важные, героические и чрезвычайные; но гневен, вспыльчив и легкомыслен; не плавно выражается и странен в обращении. Во всех словах и поступках, особенно в сочинениях его, приметны напряжение и высокопарность, часто без приличия. Неуместное внимание происходит, может быть, от глухоты на одно ухо. Раздражённость нервов его требует, чтобы он не слишком занимался, особенно сочинением».*

Бедный Кюхля — чуть ли не в самой ранней лицейской характеристике надзиратель по учебной и нравственной части



**Мартын Пилецкий** (о нём ещё будет упомянуто) не рекомендует ему сочинять, а тот до конца дней никак не исправится!

*«Матюшкин Фёдор, — читаем мы в той же ведомости, — лютеранского исповедания, 13-ти лет. С хорошими дарованиями: пылкого понятия, живого воображения, любит учение, порядок и опрятность; имеет особенно склонность к морской службе; весьма добронравен при всей живости, мил, искренен, чистосердечен, вежлив, чувствителен, иногда вспыльчив и гневен, но без грубости, и только на минуту, стараясь истреблять в себе и сей недостаток».*

*«Пуцин Иван, 14-ти лет. С весьма хорошими дарованиями; всегда прилежен и ведёт себя благоразумно. Благодетельство, воспитанность, добродушие, скромность, чувствительность, с мужеством и тонким честолубием, особенно же рассудительность — суть отличные его свойства. В обращении приятен, вежлив и искренен, но с приличною разборчивостью и осторожностью».*

*«Пушкин Александр, 13-ти лет. Имеет более блистательные, нежели основательные, дарования, более пылкой и тонкой, нежели глубокой, ум. Прилежание его к учению посредственно, ибо трудолюбие ещё не сделалось его добродетелью. Читав множество французских книг, но без выбора, приличного его возрасту, наполнил он память свою многими удачными местами известных авторов; довольно начитан и в русской словесности, знает много басен и стихов. Знания его вообще поверхностны, хотя начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Самолюбие вместе с честолубием, делающее его иногда застенчивым, чувствительность с сердцем, жаркие порывы вспыльчивости, легкомысленность и особенная словоохотливость с остроумием ему свойственны. Между тем приметно в нём и добродушие; познавая свои слабости, он охотно принимает советы с некоторым успехом. Его словоохотливость и остроумие восприняли новый и лучший вид с счастливой переменой образа его мыслей, но в характере его вообще мало постоянства и твёрдости».*

## **VI. ПРОЗВИЩА**

*В те дни, когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал украдкой Апулея,  
А над Виргилием зевал,  
Когда ленился и проказил,  
По кровле и в окошко лазил,  
И забывал латинский класс  
Для алых уст и чёрных глаз;  
Когда тревожить начинала  
Мне сердце смутная печаль,  
Когда таинственная даль  
Мои мечтанья увлекала...  
Когда французом называли  
Меня задорные друзья,  
Когда педанты предрекали,  
Что ввек повесой буду я,  
Когда по розовому полю  
Резвились и бесились вволю,  
Когда в тени густых аллей  
Я слышал клики лебедей,  
На воды светлые взирая...  
Евгений Онегин, 1829.*

Первоначальный текст, несколько изменённый Пушкиным при публикации

*Французом* называли Пушкина те, кто (за исключением Дельвига и ещё одного-двух мальчиков) сами по-французски читали, болтали, но всё же не так легко, не столько знали стихов и анекдотов из старинных парижских фолиантов.

Прозвище понравилось самому Пушкину; впрочем, одно из писем он сам подпишет: «Егоза Пушкин». Иногда, правда, в минуту острой стычки, ещё ему бросали из Вольтера: «Помесь тигра с обезьяной»: кличка «зверинская», как у Серёжи Комовского который за приставания и ябеду сделался *Лисой* и *Смолой*; Вольховский же, сразу отличившийся знаниями и первенствующий по отметкам, сделался *sapientia* (по-латыни — *Разумница*), а затем — *Суворочкой* (может быть, он был похож на дочь великого полководца, которую так называли?).



Михаил Яковлев

Без прозвища не остался почти никто: Иван Малиновский за доблесть и драчливость становится *Казаком*; Миша Яковлев, с первых дней строящий рожи и уморительно подражающий, — *Паяс*, хитрющий и пронырливый Сергей Ломоносов — *Крот*, Горчаков, кажется, *Франт*, Стевен — *Швед*. Рекомендованный Державиным новгородец Тырков приклеивает к себе французское выражение, которое употребляет к месту и не к месту: «*та foi*» (Клянусь!), но позже за цвет лица будет переименован в *Кирпичный брус*. Модинька Корф за злой характер, интерес к церковному или бог знает еще за что сделается *Дьячок Мордан*, что означает «дьяк-кусака» (от французского *mordant* — кусака)... Если маленький Ржевский — *Дитя* или *Кис*, то не столь маленький, но неразумный Костенский — *Старик*.

С остальными прозвищами всё понятно. Пущин Иван — то же самое, что *Жан*, *Жанно*, а за длинный рост — *Иван Великий* или *Большой Жанно*. У Алексея Илличевского ехидно-ласкательно — *Олосенька*; Антоша Дельвиг — соответственно *Тося*, *Тосинька*, Кюхельбекер — *Кюхель*, *Кюхля*, *Бекеркюхель*; туповатый и упрямый Мясоедов лучше всего переводится как *Мясожоров* или, добродушно, *Мясин*. Павел Гревениц — просто *Бегребниц*, к Феде Матюшкину прозвищем прилипает немецкое ласковое обращение *Федернелке*, но было и другое — *Плыть*

хочется, с которого начинается морская карьера будущего адмирала.



Федор Матюшкин

Зато рыжий и ленивый Данзас — это целая мишень. Для изощренных прозвищ: *Медведь* или *Кабуд* в честь глупого, ослоподобного Кабуда — путешественника, сочиненного Василием Львовичем Пушкиным.

Кажется, с прозвищ начинается «лицейская словесность», попадающая вскоре и на бумагу.



## ***VII. ПЕРВЫЕ СТРОКИ***

*«Кн. А. М. Горчакову.*

*Вы пишете токмо для вашего удовольствия, а я, который вас искренно люблю, пишу, чтобы вам сие сказать.*

*А. Пушкин».*

Это самая ранняя из сохранившихся рукописей Пушкина. 1811 год... Сегодня она, как полагается, находится в Пушкинском доме в Ленинграде. В одной из соседних ячеек того же хранилища — последние, преддуэльные строки — детской писательнице Ишимовой:

*«Милостивая государыня Александра Осиповна. Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение...»*

Между этими двумя листками — вся жизнь великого поэта: около 1800 «единиц хранения» в рукописном отделе Пушкинского дома. Иногда единицей является огромная тетрадь с сотнями черновых и беловых текстов, иногда — альбом вот с такой запиской однокласснику: не очень самостоятельной, заимствованной из одного французского сочинения, но сентиментально-трогательной...





Александр Горчаков

Князь-франт Горчаков, умный, весёлый, благородный, нравится «номеру 14-му»; впрочем, это не противоречит тому, что через минуту после объяснения в «искренней любви» князю легко может перепасть нечто совсем несентиментальное... Как это ловко делает Илличевский:

*Гуляй, mon Prince, на что учиться!*

*От книг беги, как от беды;*

*Разве должно над книгой биться?*

*Чёрт с ней. Сиятельный ведь ты;*

*Алмазы, денежки имеешь,*

*Как с сим чинов не получать?*

*Охота ж в Pension езжать? —*

*Ведь ты parler francais умеешь!*

Оставалось только сложить первые буквы каждой строки...

Илличевский остёр. Пущин, однако, считает, что первым стихотворцем всегда был Пушкин:

*«... При самом начале — он наш поэт. Как теперь, вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья! опишите мне, пожалуйста, розу стихами».*

*Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочёл два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе».*

*Француз славен ещё и тем, что, прочитав один или два раза страницу любого стихотворения, запоминает её наизусть; продолжая сочинять по-французски, всё больше упражняется по-русски. Среди одноклассников ему, конечно, дорога репутация сочинителя быстрого, лёгкого, работающего без всяких усилий, но от Лисы Комовского, как и от других, не укрылось, что «поэт наш, удаляясь редко в уединённые залы Лицея или в тенистые аллеи сада, грозно насупя брови и надув губы, с искусанным от досады пером во рту. как бы усиленно боролся иногда с прихотливою кокеткою музою. а между тем мы всё видели и слышали потом, как всегда лёгкий стих его вылетал, подобно «пуху из уст Эола»».*

Первые стихи попадают в один из первых рукописных журналов, от которого (как и от некоторых других), увы, до наших дней сохранилось только название «Неопытное перо» да имена авторов редакторов: Пушкин, Дельвиг, Корсаков.



## **VIII. НИКОЛАЙ КОРСАКОВ**

*Любви, забав питомец нежный...*

*...Кудрявый наш певец*

*С огнём в очах, с гитарой сладкогласной.*

Строки Пушкина о Николае Корсакове, поэте, добром друге, музыканте (гитара и в ту пору уже была могучей властительницей!..).

Николай Корсаков — из очень культурной семьи (брат — известный в ту пору литератор).

Сохранился лист грубой бумаги, где с большим числом грамматических ошибок, но с ещё большим задором и весёлостью выходит на сцену лицейская журналистика.

*«Императорского Царскосельского Лицея*

*Вестник N 1-й.*

*3 декабря 1811 г.*

*29 ноября. Лицей.*

*Мы получили известие о весьма страстных происшествий, случившиеся в течение сего месяца, мы спешим уведомлять об оных почтеннейшую публику.*

*28 ноября. Из физической залы.*

*Известна всем вражда, которая завелась между князем Горчаковым, г-ном Масловым и г-ном Ломоносовым... Сего дня князь Горчаков, видя, что единое самолюбие заставляло соперников его не предполагать примирения, прислал г-на Гревеница, правителя секретной Экспедиции, доложить г-ну Маслову, что он желает с ним иметь переговоры, и, как скоро Маслов пришёл, князь ему сказал: «Милостивый государь, сказал он, я вас уважаю, хотя ненависть нас столь долгое время разделяла, я думаю, что лучше позабыть наши прошедшие раздоры, и предлагаю вам мир».*

*Г-н Маслов, поражённый сим великим поступком, великодушно заключил с ним мир. Вскоре после г-н Ломоносов прекратил свой гнев, и теперь сии три знатные особы бывают очень часто вместе, и тишина нам возвращена».*

Примечание выдаёт редактора: *«Сии известия нам сообщены г-ном Корсаковым».*

Между другими новостями и письмами в редакцию (Данзас, Гревениц, Горчаков, Илличевский) довольно профессио-



нальные стихи «Сила времени» Илличевского, некое философское рассуждение, обрывающееся после первой фразы («продолжение впредь»), и, наконец, совершенно нелепые, безграмотные стихи:

*Страх при звоне меди  
Заставляет народ уstraи́нный  
Толпами стремиться в храм священный,  
Зри, боже, число великий,  
Унылых тебя просящих сохранить нам  
Цель, труд многим людям  
Принадлежащий...*

Внизу подпись: «С французского Кюхельбекер»; конечно, это пародия на его манеру, неизвестно кем сочинённая. (Пушкин цитировал эти стихи в одном письме 11 лет спустя.)



Николай Корсаков

Корсаков — издатель, весёлый поэт, по духу, кажется, довольно близкий к Пушкину (он всего на год моложе), и характе-

ристики, которыми его награждают с первых дней наставники, почти столь же лестные:

*«Корсаков Николай: весьма пылок, непризнателен, скрытен, нерадив, неопрятен, насмешилив; впрочем, усерден, услужлив, ласков. При больших способностях к учению и самонадеянию, менее прочих прилагает старания.*

*Николай Корсаков столько счастлив памятью и одарён понятливостью, что с первого взгляда, обняв в мыслях изъяснение, считает себя свободным от внимания и, кажется, не чувствует пользы постоянного прилежания, однако же успехи его в обоих языках довольно хороши».*

*Подписано: «Гувернёр Чириков, профессор Кошанский».*

Так жили и мыслили 12-13-летние поэты, франты, весельчаки, мечтатели...

Между тем подходит к концу первый лицейский учебный год 1811/12-й.

### ***IX. 1812 ГОД***

*И быстрым понеслись потоком*

*Враги на русские поля.*

*Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,*

*Дымится кровию земля;*

*И сёла мирные, и грады в мгле пылают,*

*И небо заревом оделося вокруг,*

*Леса дремучие бегущих укрывают,*

*И праздный в поле ржавит плуг.*

*Из «Воспоминаний в Царском Селе», 1814 год*

*Вы помните: текла за ратью рать,*

*Со старшими мы братьями прощались*

*И в сень наук с досадой возвращались,*

*Завидуя тому, кто умирать*

*Шёл мимо нас...*

Из стихотворения к последней для Пушкина лицейской годовщине октября 1836 года

24 июня 1812 года перешла Неман и вторглась в русские пределы огромная, почти 600-тысячная армия Наполеона, армия, как говорили, «двунадесяти языков» (так как под знамёна

императора французов были мобилизованы десятки тысяч немцев, итальянцев, поляков и других покорённых народов).

Цель захватчика была проста и ясна: мировое господство.

Сомнений в успехе у него почти не было: слишком легко и быстро сокрушал Бонапарт лучшие армии Европы; считавшаяся непобедимой прусская армия была разгромлена в 1806 году за четырнадцать дней; численное превосходство австрийских войск не спасло их от нескольких жестоких поражений. Русские же армии в тот момент, когда Наполеон начал войну, уступали французам в численности, снаряжении, были разъединены на огромном пространстве страны.

И вот тревожные вести, слухи ползут по русским деревням, городам, столицам достигают, конечно, и Царского Села. Армии Багратиона и Барклая сумели соединиться, но оставлен Смоленск.

Главкомандующим назначен Кутузов, а враг меж тем уже в нескольких дневных переходах от Москвы — и мы знаем, что горячие, юные лицейские головы подхватывают несправедливую молву об измене Барклая, будто бы не давшего должный отпор врагу.

Кюхельбекер откровенно пишет о том матери, она же отвечает умным письмом, которое, несомненно, было пересказано товарищам (и когда, много лет спустя, Пушкин в стихотворении «Полководец» высоко отзовётся о Барклае, как не вспомнить ему лицейские страсти!).

*«Я не хотела, — пишет мать Кюхельбекера, — писать оправдание генерала Барклая, я не сумею этого сделать, потому что я не военный и не муж, я хотела только дать урок моему милому Вильгельму, о котором знаю, как часто он увлекается свежим чувством, урок не так слепо верить, чему он слышит».*

Между тем свежие газеты расхватываются и обсуждаются в газетной комнате; письма из дому сообщают, что одни родственники ушли на войну, имения других заняты неприятелем.

Шестидесятилетний дядя Пушкина Павел Львович записывается в ополчение.

Горячо обсуждается подвиг Раевских, и июля 1812 года генерал Николай Николаевич Раевский в сражении при Салта-

новке повёл с собою в бой двух сыновей: одного — Александра шестнадцати лет, другого — Николая одиннадцати лет (меньше, чем среднестатистическому лицеисту!). Сам генерал с обычной скромностью объяснял, что ему просто некуда было девать своих мальчиков...

Пятнадцатилетний Кюхля собирается бежать в армию, его с трудом удерживают.

*«Народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжёг десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принял за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни...*

Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окружённая людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела её душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла её безнадёжность, полицейские объявления графа Ростопчина выводили её из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своём ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая вёрсты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своём намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить её в безумстве такого предприятия».

Повесть «Рославлев», написанная 19 лет спустя и рассказывающая о переживаниях молодой девушки, без сомнения, автобиографична. Самым неожиданным героям и героиням Пуш-

кин отдавал свои сокровенные воспоминания и переживания (это тонко почувствует Кюхельбекер, когда позже в глухой тюрьме прочитает «Евгения Онегина» и скажет, что Татьяна «*это Пушкин!*»).

Воспоминания 1812 года — одни из главных в жизни первых лицейстов.

Лицейская энергия в тот год выходит множеством каналов — военными играми, спектаклем. Впрочем, как обычно, величественное и трагическое соседствует со смешным: 30 августа 1812-го в Петербург доставлено донесение Кутузова о Бородинской битве, которая рассматривается как победа. Лицейсты же в этот день, по воспоминаниям одного из них, разыгрывают самодеятельный спектакль «Роза без шипов», сочинённый их педагогом Иконниковым. На него собралась вся «царскосельская публика»; разумеется, вместо кулис были поставлены ширмы, никаких театральных костюмов не нашли — и играли в лицейской форме, сюртуках или мундирах. Тема представления, конечно же, военно-патриотическая — играли многие (Пушкин и Дельвиг, впрочем, уклонились, как обычно), главную же роль исполнял Дмитрий Маслов, который так переволновался или переутомился, что в антракте упал в обморок и во втором акте выйти на сцену уже не мог.

Как быть?

Тут неожиданную смелость проявил сам сочинитель пьесы: возможно, это объяснялось тем, что он был... мертвецки пьян. Зрителей никто не предупредил о замене, и они, привыкшие в течение первого действия к образу главного героя, видят, что тот вдруг сильно постарел, переменял лицейский мундир на штатское платье, к тому же почти не помнит слов и сбивает с ног своих партнёров. Публике было предоставлено самой догадываться, что лицейст Маслов и педагог Иконников — одно лицо.

Видимо, за эту провинность Иконникова вскоре изгоняют из Лицея (но он, как мы знаем, продолжает водить знакомство со вчерашними учениками).

Между тем несколько дней спустя лицейсты выслушивают известие, что Москва занята неприятелем.

*Края Москвы, края родные,  
Где на заре цветущих лет  
Часы беспечности я тратил золотые,  
Не зная горести и бед,  
И вы их видели, врагов моей отчизны!  
И вас багрила кровь и пламень пожирал!  
И в жертву не принёс я мщенья вам и жизни;  
Вотще лишь гневом дух пылал!..  
Где ты, краса Москвы стоглавой,  
Родимой прелесть стороны?  
Где прежде взору град являлся величавый,  
Развалины теперь одни.*

.....

.....

*Всё мёртво, всё молчит.*

Это написано два года спустя, но впечатления ещё живы, и никто не забыл, какой плач поднялся в Лицее, когда узнали... Горевали те, кто пришёл в Лицей из Москвы, и те, кто никогда в Москве не был. Василий Фёдорович Малиновский меж тем получает секретную инструкцию об эвакуации Лицея, если неприятель двинется к Петербургу...



Битва казака с французом,  
лицейский рисунок А.Д. Илличевского (1813 г.)

Зато какое «ура!» при известии об отступлении Бонапарта из Москвы, какой подарок к первой годовщине Лицея, 19 октября 1812 года.

Под Новый год — салют в честь изгнания неприятеля из страны. Потом салют в честь занятия Варшавы. Затем ещё и ещё военные салюты, вплоть до последнего — за Париж.

## ***Х. ПОБЕДЫ***

*«Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни «Vive Henri Quatre», тирольские вальсы и арии из Жоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!»*

Метель, 1830

*Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щёголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами царствовал тогда...  
Его мы очень смирным знали,  
Когда не наши повара  
Орла двуглавого щипали  
У Бонапартова шатра...  
Гроза двенадцатого года  
Настала — кто тут нам помог?  
Остервенение народа,  
Барклай, зима иль русский бог?*

Фрагменты сожжённой X главы «Евгения Онегина», 1830

Оба рассказа о войне, победе, стихотворный и прозаический, написаны буквально в одни и те же дни, болдинской осенью 1830 года. Противоречие их — кажущееся... Достаточно

присмотреться к пушкинским текстам, чтобы увидеть «невидимое» — что после 1812-го это были лучшие минуты для царя, за которыми начались много худшие; что можно было бы немало дать стране, а «властитель слабый и лукавый» не дал, и поэтому события пошли так, как описано в сожжённых строфах...

*Россия присмирела снова,  
И пуще царь пошёл кутить,  
Но искра пламени иного  
Уже издавна, может быть,*

.....  
Радость, молодость, волнения. Впрочем, и тогда и после — восторг не ослеплял, аплодисменты не мешали ехидной и опасной насмешке.

На одно из победных торжеств, летом 1814. года, допустили и лицеистов, и острый взгляд Пушкина тут же отметил чрезвычайно узкие Триумфальные ворота, через которые должен пройти царь со свитой, а на воротах, как будто в насмешку, — два громких стиха, обращённых к монарху:

*Тебя, текуща ныне с бою,  
Врата победы не вместят!*

Пушкин набрасывает пером рисунок, смысл которого в том, что царя, располневшего за время войны, ворота действительно никак не вмещают, и свита кидается их рубить. Один исследователь XIX века писал, что «автора невинной шутки долго искали — но, разумеется, не нашли». Если б нашли, худо пришлось бы молодцу.

Под одной эпиграммой тех лет отсутствует подпись, да уж очень остра, и не виден ли «лев по когтям»?

Тёзка императора, Александр Павлович Зернов, был помощником гувернёра, имея крепкую репутацию «подлого и гнусного глупца».

И вот...  
*Двум Александрам Павловичам  
Романов и Зернов лихой,  
Вы сходны меж собою:  
Зернов! хромаешь ты ногой,  
Романов головою.  
Но что, найду ль довольно сил*



*Сравненье кончить шпцом?  
Тот в кухне нос переломил,  
А тот под Аустерлицом.*

В ту пору будущие «столпы государства» играют в парламент (то есть в учреждение, о котором в России очень долго будут ещё мечтать!); они произносят шуточные речи, ведут прения. Патриотический порыв, ненависть к Бонапарту — хорошо! Но в некоторых столичных журналах появляются уж такие призывы (в основном исходящие от людей, уехавших от огня, в свои приволжские и другие владения), что тринадцатилетних лицейстов неудержимо тянет к пародии:

*«Помещик Нижегородской губернии, служивший капитаном при Суворове, Сила Силович Усердов, услышав, что российские войска с помощью божией, выгнали французов из пределов России, поехал в Нижний Новгород из села своего Хлебородова, чтобы там вместе с другими гражданами порадоваться о успешных подвигах российского оружия, и по долгу христианскому отслужить благодарственный молебен господину, крепкому во бранях. — Приехавши туда, немедленно принёс благодарение всевышнему. После обеда пошёл на большую площадь и, севши против памятника Пожарского и Минина, стал вслух рассуждать:*

*«Молвить правду-матку, а французы — сущая саранча. На итальянские поля возлетала, да всё поела; немецкие достались не за денежку; швейцарские мало пощипала; голландские сожрала; с прусских скоро улетела; от польских не скоро отстала; а русские так полюбила, что ночевать осталась. — Что с фиглярами прикажешь делать? — Корсиканец сам с ноготок, а борода с локоток. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Полюбилась ему немецкая сторона, так он ловит всех князьков, как ястреб цыплят. — Знать, когти-то у него велики. — Да не всё кому масленица, будет и великий пост...»*

Сочинение переписано рукою Паяса — Миши Яковлева, он ли автор или кто другой, не знаем. Зато другой сочинитель сомнений не вызывает:

*Весь круглый год святой отец постился,  
Весь божий день он в келье проеождал,  
«Помилуй мя» вполголоса читал,*

*Ел плотно, спал и всякий час молился.  
А ты, монах, мятежный езуит!  
Красней теперь, коль ты краснеть умеешь,  
Коль совести хоть капельку имеешь;  
Красней и ты, богатый кармелит,  
И ты стыдись, Печерской лавры житель,  
Сердец и душ смиренный повелитель...  
Но, лира! стой! Далеко занесло  
Уже меня противу рясок рвенье;  
Бесить попов не наше ремесло.*

Озорная поэма «Монах» была прочтена Горчакову, который объявил автору, что это сочинение его недостойно. И видно, Франт имел ещё немалое влияние на Француза, если тот отдал единственный экземпляр, который Горчаков понёс сжигать...

И не сжёг. О том никто, впрочем, не узнал. И Пушкин забыл свой грех. Только 115 лет спустя, в 1928 году, когда в одном старинном, московском особняке случайно обнаружился архив Горчакова, — учёные вдруг увидели листки «Монаха», и знаменитый пушкинист Щёголев начал суеверно переписывать стихи... на манжеты — а вдруг снова пропадут!

Впрочем, Горчаков, отбирая и пряча поэму у себя в комнате, рисковал в случае набега кого-либо из подслушивающих, вынюхивающих, доносящих (кто плотно окружал и лицейских, и их директора).

*«Мы прогоняем Пилецкого» («Программа записок»)*

Холодный, религиозный мистик, по своим взглядам и повадкам годившийся скорее в иезуитские агенты, нежели в лицейские воспитатели, Мартын Пилецкий-Урбанович, несомненно, шпионил и за своими подопечными, и за педагогами.

По его сохранившимся записям видно, что, например, 16 ноября 1812 года Пушкин «весьма оскорбительно» прохаживался при Мясоедове насчёт того правительственного департамента, где служил Мясоедов-старший; а через день зафиксирован ещё более важный проступок: Пушкин толкал Мясоедова и Пушина, приговаривая, что если они будут жаловаться, «то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею»; после какого-то разговора Пушкина с Кошанским, когда учитель

разгневался, Пилецкий откровенно записал, что спрашивал других воспитанников о содержании спора, *«но никто не мог мне разговор повторить, по скромности, как видно»*.

Наконец однажды подслушивание позволяет надзирателю узнать, что лицеисты готовят заговор: Пушкин за обедом упрекает Вольховского, что *«он боится потерять доброе своё имя»*, и перечисляет вместе с Корсаковым «обиды» Пилецкого, оставшиеся без ответа. Тайный подслушиватель, разумеется, составляет из полученной информации доклад начальству, но через два дня приходится составлять новый: родной брат ненавистного Пилецкого, губернёр Илья Пилецкий, на уроке немецкого языка отнимает у Дельвига *«бранное на господина инспектора (Мартына Пилецкого) сочинение»*. Пушкин с *«непристойной вспыльчивостью»* громко говорит: *«Как вы смеете брать наши бумаги, стало быть, и письма наши из ящика будете брать?»*

*Но кто немецких бредней том*

*Покроет вечной пылью?*

*Пилецкий, пастырь душ с крестом,*

*Иконников с бутылью.*

Это уже, как они шутили, — *«национальные песни»* государства, города, *«нации по имени Лицей»*. Кто сочинял? Все — и никто: насчёт Иконникова *«с бутылью»* и *«Пилецкого, пастыря душ с крестом»* брал грех сочинительства Федернелке Матюшкин, прибавляя полвека спустя, что в ту пору Пилецкий вздумал давать фамильярные прозвища сестрицам и кузинам, посещавшим лицеистов. Имея и без того зуб на прилипчивого инспектора, мальчишки решительно встают на защиту слабого пола. Однажды лицейские собираются в конференц-зале, просят вызвать инспектора и предлагают ему на выбор: либо он удаляется из Лицея, либо увидит, как они потребуют собственного своего увольнения. *«Угроза, — вспомнит Матюшкин, — конечно, была не очень серьёзного свойства, но Пилецкий отвечал хладнокровно: «Оставайтесь в Лицее, господа!» — и в тот же день выехал из Царского Села навсегда»*.

Первый успех в борьбе с «властями».



## ***XI. ДЕМОН МЕТРОМАНОВ***

*В те дни в таинственных долинах,  
Весной при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться муза стала мне.*

Евгений Онегин, 1830

*Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!  
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;  
За лаврами спешишь опасною стезёй  
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!*

Так начиналось длинное стихотворение «К другу стихотворцу», поступившее в апреле 1814-го в известный журнал «Вестник Европы». Редакция отозвалась, что готова напечатать стихи, если автор сообщит своё имя и адрес. Журналу было отвечено — и вот в 13-м номере (начало июля: журнал выходил каждые две недели) стихи появляются.

*Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет  
И, перьями скрывя, бумаги не жалеет.  
Хорошие стихи не так легко писать.  
Как Витгенштейну французов побеждать.  
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,  
Певцы бессмертные, и честь и слава россов,  
Питают здравый ум и вместе учат нас,*

*Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!  
Творенья громкие Рифматова, Трафова  
С тяжёлым Бибрусом гниют у Глазунова;  
Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить  
И сатирическим пером тебя замучить.  
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,  
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..  
Подумай обо всём и выбери любое:  
Быть славным — хорошо, спокойным —  
лучше вдвое.*

Подразумеваются литературные противники Пушкина и его единомышленников — Шахматов, Хвостов, Бобров. Глазунов — издатель-книготорговец.

Затем следовала подпись из одних согласных, загадочная для тогдашних и столь лёгкая для сегодняшних читателей — *Александр Н. К. Ш. П.*

Так Пушкин напечатался в первый раз (но далеко не первым среди лицейских). В это время поэтические вымыслы и замыслы его буквально одолевают, о чём товарищи легко догадываются по тому, как на лице Пушкина чередуются хмурость и весёлость. Избранные круг лицейских читателей вскоре узнает про комедию «Философ» из пяти действий, из которых одно уж написано. Илличевский в восторге: *«Стихи — и говорить нечего — а острых слов сколько хочешь! Дай только бог ему терпения и постоянства, что редко бывает в молодых писателях... Дай бог ему кончить — это первое большое сочинение, начатое им, сочинение, которым он хочет открыть своё поприще по выходе из лицея. Дай бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах».*

Меж тем уже написана вместе с Яковлевым другая комедия, да ещё роман в прозе «Цыган», да начата в стихах восточная сказка «Фатам, или Разум человеческий» (увы! от всех этих творений осталось всего несколько строк. Поэт к себе беспощаден и, как бы предвидя сильное будущее, не жалеет слабого прошлого...).

Однажды он признаётся, что видит стихи даже во сне: приснилось двустиишие, к которому позже добавится целое стихотворение Лицинию.

Почти все учителя к этому увлечению *Егозы* довольно равнодушны. Много лет спустя, когда поклонники поэта начнут приставать с расспросами к ещё живым наставникам, один из них, «каллиграф» Калиныч, ответит в сердцах: «*Пушкин... Да что он вам дался, — шалун был, и больше ничего*». Разве что Карцев смеётся над пушкинской эпиграммой в адрес лицейского доктора Пешеля, а Пешель охотно слушает стихотворный выпад против Карцева... Только Кошанский с каждым днём всё более гордится успехом молодого человека и, кажется, склонен преувеличивать тут свою руководящую роль...

*Любезный именинник,  
О Пуцин дорогой!  
Прибрёл к тебе пустынный  
С открытою душой...  
Ты счастлив, друг сердечный,  
В спокойствии златом  
Течёт твой век беспечный,  
Проходит день за днём,  
И ты в беседе граций,  
Не зная чёрных бед,  
Живёшь, как жил Гораций,  
Хотя и не поэт.  
Под кровом небогатым  
Ты вовсе не знаком.  
С зловецим Гиппократом,  
С нахмуренным попом;  
Не видишь у порогу  
Толпящихся забот;  
Нашли к тебе дорогу  
Весёлость и Эрот;  
Ты любишь звон стаканов  
И трубки дым густой,  
И демон метроманов  
Не властвует тобой.  
Ты счастлив в этой доле;  
Скажи, чего же боле  
Мне другу пожелать?  
Придётся замолчать...*

Именинник Пушкин — редкий «не поэт». Метромания — навязчивое стремление, мания к стихосложению. Легче перечислить, кто не писал, нежели тех, кто предался опасному демону «эпидемии» стихосложения. Даже совсем «зелёный» Николинька Ржевский, по воспоминаниям товарищей, пописывал «стишонки». И не об этом ли эпизоде много лет спустя вспомнит Пушкин (в связи с нападениями на него враждебных критиков)?

*«...В Лицее один из младших наших товарищей, и не тем будь помянут, добрый мальчик, но довольно простой и во всех классах последний, сочинил однажды два стишка, известные всему Лицею:*

*Ха, ха, ха, хи, хи, хи!*

*Дельвиг пишет стихи!*

*Каково же было нам, Дельвигу и мне, в прошлом 1830 году, в первой книжке важного Вестника Европы найти следующую шутку: «Альманах Северные цветы разделяется на прозу и стихи — хи, хи!». Вообразите себе, как обрадовались мы старой нашей знакомке! Сего не довольно. Это **хи, хи!** показалось, видно, столь затейливым, что его перепечатали с большой похвалой в Северной пчеле».*

«Демон Метроманов» в первые лицейские годы был, видно, так силён, что даже Большой Жанно — «хотя и не поэт» — ударился в сочинительство: переводит с французского статью об эпиграмме и пародии у древних. В статье были и тексты нескольких эпиграмм которые переложить на русский язык взялись Пушкин и Илличевский (позже коллективный перевод появится в печати).

Илличевского в ту пору поклонники в классах величают Державиным, а Пушкина — Дмитриевым (то есть «рангом ниже»). Однажды неизвестно кем (или сразу многими) был сочинён прославляюще-насмешливый

Хор

*по случаю дня рождения почтенного поэта нашего*

*Алексея Демиановича Илличевского*

Певец

*Ты родился, и поэта*

*Нового увидел мир,*

*Ты рождён для славы света,  
Меж поэтов — богатырь!  
Пой, чернильница и перья,  
Лавка, губка, мел и стол,  
У него все подмастерья,  
Мастеров он превзошёл!*

Хор

*Слава, честь лицейских муз,  
О бессмертный Илличевский!  
Меж поэтами ты туз!  
Все гласят тебе лицейски  
Криком радостным: «виват!  
Ты родился — всякий рад!»*

Он и в самом деле был остёр и лёгок — Олосенька Илличевский. Особенно хороши его эпиграммы:

*Клит написал одну трагедию всего,  
И это лучшая комедия его.  
«Ну что? скажи, моё двустушие каково?»  
— Мой друг! я до конца не мог дочесть его.*

Лицейские легенды повествуют, будто Пушкин не мог закончить один стих, Илличевский тут же завершил его посвоему, а Корсаков положил на музыку...

Пройдут годы — через десять лет после окончания учения Илличевский выпустит свою единственную книгу с 270 стихотворениями. Много, может быть, слишком много будут и тогда и после говорить о неудачном соперничестве Илличевского с его гениальным одноклассником. Вяземский напишет:

*Пред Фебом ты зажжёт огарок,  
А не огромную свечу.*

Стоит ли заниматься такими сопоставлениями? Сам Илличевский в зрелые годы не считал себя крупным поэтом, хотя, может быть, и не сумел развить те ростки таланта, что имел: и Кюхельбекер и Дельвиг благодарили его» за стихи, за дружбу, за пример. Разве можно отделить Пушкина от живой, весёлой, «стишистой» лицейской «питательной среды», частью которой, и заметной, был Алексей Илличевский...

Целой гурьбой и почти одновременно выходят на страницы лучших журналов и *Н...К...Ш...П*, и — *Ийший* — (Илличев-



ский) и ещё несколько лицейских: первым пытался быть Миша Яковлев со своими баснями, прося редактора не помещать под ними его фамилии. Журнал, однако, опубликовать Яковлева отказался, а Илличевский тут же отозвался:

*Уваженная скромность  
Нагромоздивши басен том,  
Клеон давай пускать в журнал свои тетради,  
Проя из скромности издателя о том,  
Чтоб имени его не выставял в печати:  
Издатель скромностью такую тронут был,  
И имя он, и басни — скрыл.*

Кто первым начал писать — неведомо, но напечатался первым Кюхельбекер.

Много лет спустя, говоря о первых стихах умершего Дельвига, Пушкин вспоминает при том безымянного друга.

*«Любовь к поэзии пробудилась <в Дельвиге> рано. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочёл он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием».*

*«Живой лексикон и вдохновенный комментарий»* — Кюхельбекер, имя которого в 1830-х годах нельзя громко произносить, государственный преступник 1-го разряда!

## ***XII. КЮХЛЯ***

*Служенье муз не терпит суеты;  
Прекрасное должно быть величаво:  
Но юность нам советует лукаво,  
И шумные нас радуют мечты...  
Опомнимся — но поздно! и уныло  
Глядим назад, следов не видя там.  
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,  
Мой брат родной по музе, по судьбам?  
1825*

*За ужином объелся я,  
А Яков запер дверь оплошно —*

*Так было мне, мои друзья,  
И кюхельбекерно и тошно.*  
1819

*Пора, пора! душевных наших мук  
Не стоит мир; оставим заблужденья!  
Сокроем жизнь под сень уединенья!  
Я жду тебя, мой запоздалый друг —  
Приди; огнём волшебного рассказа  
Сердечные преданья оживи;  
Поговорим о бурных днях Кавказа,  
О Шиллере, о славе, о любви.*  
1825

*Где вы, товарищи? где я?  
Скажите, Вакха ради...  
Вы дремлете, мои друзья,  
Склонившись на тетради...  
Писатель за свои грехи,  
Ты с виду всех трезвее;  
Вильгельм, прочти свои стихи,  
Чтоб мне заснуть скорее.*  
1814

*В последний раз, в сени уединенья,  
Моим стихам внимает наш пенат.  
Лицейской жизни милый брат,  
Делю с тобой последние мгновенья.*  
1817



Кюхельбекер и Рылеев на Сенатской площади 14 декабря 1825 года;

Рисунок А.С. Пушкина, 1827 г.

Какие разные оценки одного человека — одним и тем же, дружеским, пером! Где истина? В каком году? Везде...

Однажды, в невесёлый час, Вильгельм напишет мужу старшей сестры, известному учёному и педагогу Григорию Глинке, что в Лицее всё ему немило, что друзей нет и дел нет. Родственник отвечал: «...жалею вместе с тобою о твоих неудачах», советовал крепче приналечь на науки, но притом винил и самого Кюхлю:

*«Ты напрасно также надеешься найти друзей между ветренниками твоих лет, не созревши покамест и сам для чувства дружбы. Вообще, милый друг, старайся воспользоваться золотою порою молодости твоей, занимаясь исключительно и единственно науками, в которых благо жизни нашей; не упускай притом из виду будущего своего назначения в обществе и соделай себя достойным его; не плачь обо всём и во всякое время; плаксивое лицо, точно как и слишком грустное расположение духа, нимало не сестрится с юношеским возрастом. Приобыкши на все вещи смотреть с худой стороны, ты поневоле будешь несчастлив; верь также мне, что мы во всех почти случа-*

*ях жизни сами бываем орудием собственного нашего счастья или злключения».*

Да, Кюхельбекер и сам так думал, и сам в другую минуту найдёт друзей *«милыми и прекрасными»*.

Так и будет впредь: любовь и насмешка, дружба и безжалостная эпиграмма: Кюхля вызовет Пушкина стреляться; от насмешек над своей долговязой, нескладной фигурой и стихами придёт в отчаянье; однажды кинется топиться в царскосельский пруд — его вытащат и будут любить, как и прежде любили, удивляясь сочетанию вдохновенья, таланта и страшных несообразностей. Любя, станут снова издеваться, мириться...

*Мой брат родной по музе, по судьбам...*

### ***XIII. ДЕЛЬВИГ***

Кюхельбекер напечатался первым, Дельвиг — вторым...

*«Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы; он предпочитал прогулки по аллеям Царского Села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходились с его собственными. Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Торацію. Оды «К Диону», «К Лилету», «Дориде» писаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял.*

*В то время (1814 году) покойный Влад. Измайлов был издателем «Вестника Европы». Дельвиг послал ему свои первые опыты: они были напечатаны без имени его и привлекли внимание одного знатока, который, видя произведения нового, неизвестного пера, уже носящие на себе печать опыта и зрелости, ломал себе голову, стараясь угадать тайну анонима. Впрочем, никто не обратил тогда внимания на ранние опресноки столь прекрасного таланта! Никто не приветствовал вдохновенного юношу, между тем как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой лёгкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены, как некоторое чудо!*

*Но такова участь Дельвига; он не был оценён при раннем появлении на кратком своём поприще; он ещё не оценён и теперь, когда покоится в своей безвременной могиле!»*

Кто был тем его товарищем, кто написал *«стихи посредственные»*?.. Чаще всего в комментариях к этому месту пишут, что подразумевается Алексей (Олосенька) Илличевский. Очень сомнительно, однако, чтобы Пушкин в зрелые годы вдруг бы задел бывшего соперника. С огромной долей вероятности, *«посредственные стихи»* — это Пушкин о самом себе и о тех похвалах, которые он начал вскоре получать и которые спустя годы кажутся ему столь завышенными! О Дельвиге же —

*С младенчества дух песен в нас горел,  
И дивное волненье мы познали;  
С младенчества две музы к нам летали,  
И сладок был их лаской наш удел:  
Но я любил уже рукоплесканья,  
Ты, гордый, пел для муз и для души;  
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,  
Ты гений свой воспитывал в тиши...*

Трудно, иногда невозможно было разделить литературный и душевный талант «милого Тоси». *«Жизнь Дельвига, — скажет один из близких, — была прекрасная поэма; мы, друзья его, читали и восхищались ею».*



Даже мрачный недоброжелатель Мартын Пилецкий, давая характеристики своим «подопечным», никак не мог соединить воедино Дельвиговых недостатков и достоинств.

*«Способности его посредственны, — записывал надзиратель, — как и прилежание, а успехи весьма медленны. Межкотность вообще его свойство и весьма приметна во всём, только не тогда, когда он шалит и резвится: тут он насмешлив, балагур, иногда и нескромен; в нём примечается склонность к праздности и рассеянности. Чтение разных русских книг без надлежащего выбора, а может быть, и избалованное воспитание испортили его, почему и нравственность его требует бдительного надзора, впрочем, приметное в нём добродушие, усердие его и внимание к увещаниям, при начинающемся соревновании в российской истории и словесности, облагородствуют его склонности и направят его к важнейшей и полезнейшей цели».*

Лень, ленивец, лентяй, феноменальная леность, сонливость — кажется, все, приятели и недруги, помнили об этом примечательном качестве Дельвига.

*Дельвиг мыслит на досуге*

*Можно спать и в Кременчуге —*

это куплет из коллективного лицейского сочинения (в Кременчуге служит в ту пору отец «ленивейшего из смертных»). Близкие друзья, однако, рано распознали, как много в этой лени маскировки, позволяющей хитроумному ленивцу жить и действовать, как ему нравится, и отстаивать свою личность порою в очень непростых обстоятельствах. «Оправданная лень» — начнёт Пушкин стихи в честь Дельвига (к сожалению, от них сохранилось только заглавие). «Святая леность» — выскажется «виноватый» сам о себе. Наконец Пушкин найдёт самые лучшие слова в 1817-м:

*Любовью, дружеством и ленью*

*Укрытый от забот и бед,*

*Живи под их надёжной сенью;*

*В уединении ты счастлив: ты поэт.*

*А ещё восемь лет спустя:*

*Сын лени вдохновенный, о Дельвиг мой!*

Поэтому для многих было неожиданным, а для немногих — совершенно естественным, что ленивец, один из последних по успехам, становится после Лицея прекрасным поэтом, одним из лучших российских издателей...



И каким-то образом всегда выходило, что вокруг него собирался круг старинных приятелей; что именно ему писать слова для общего лицейского гимна.

Но это после — это ещё не скоро. Пока же на дворе только 1814 год...

Пока же *Француз*, оправдывая прозвище, преподносит друзьям свой портрет: не живописный, но словесный, притом по-французски.

Переводя его дословно, познакомимся с первой исповедью юного поэта:

*Вы просите у меня мой портрет,  
Но написанный с натуры,  
Мой милый, он быстро будет готов,*

*Хотя и в миниатюре.  
Я молодой повеса,  
Ещё на школьной скамье;  
Не глуп, говорю не стесняясь,  
И без жеманного кривлянья.  
Никогда не было болтуна,  
Ни доктора Сорбонны,  
Надоедливее и крикливее,  
Чем собственная моя особа.  
Мой рост с ростом самых долговязых  
Не может равняться;  
У меня свежий цвет лица, русые волосы  
И кудрявая голова.  
Я люблю свет и его шум,  
Уединение я ненавижу;  
Мне претят ссоры и препирательства,  
А отчасти пучение.  
Спектакли, балы мне очень нравятся,  
И если быть откровенным,  
Я сказал бы, что я ещё люблю...  
Если бы не был в Лицее.  
По сему этому, мой милый друг,  
Меня можно узнать.  
Да, таким, как бог меня создал,  
Я и хочу всегда казаться.  
Суций бес в проказах,  
Суцая обезьяна лицом,  
Много, слишком много ветрености —  
Да, таков Пушкин.*

Обращение в стихах — «мой милый» — может быть адресовано кому-то одному, Дельвигу например; но скорее всего это поэтическое обращение, равно относящееся ко всем — Кюхле, Корсакову, Илличевскому, Горчакову, Пущину, Данзасу, Ване Малиновскому...



#### **XIV. КАЗАК**

*А ты, повеса из повес,  
На шалости рождённый,  
Удалый хват, головорез,  
Приятель задушевный.  
Бутылки, рюмки разобьём  
За здоровье Платова,  
В казачью шапку пуни нальём —  
И пить давайте снова!..*

1814

*Ты, наш казак и пылкий и незлобный...*

1825

Вслед за Пушкиным разнообразный хор воспоминателей наблюдает пылкость, незлобность Ивана Малиновского...

Бешеный — скажет о нём Корф, но потом всё же наговорит много хорошего.

В «национальной песне» — сценка на уроке:

*С игрушкой кис  
Кричит: ленись!  
Я не хочу учиться;  
Сосед казак,  
Задав кулак,  
Другим ещё грозитя.*

«Добросердечен, от вспыльчивости всеми мерами старается воздерживаться, скромн, бережлив, вежлив, опрятен и весьма любит учение» — это отзыв гувернёра Чирикова: строки, может быть, уж чересчур «добрые», так как адресованы директору Малиновскому и посвящены его сыну. Однако вот более холодный и независимый Кошанский:

*«Иван Малиновский особенно отличается вниманием и способностями. Его редкое прилежание не столько происходит от соревнования, сколько от чувствования собственной пользы».*

Учитель словесности замечает одно качество, во многом определившее жизненный путь Ивана Малиновского: отсутствие честолюбия, «чувства соревнования». Один из надзирателей назовёт его «Санио Пансо» (то есть Санчо Панса) — подразумевается, что Малиновский так же сыплет на каждом шагу

народными пословицами и поговорками, как славный герой Сервантеса. Иван Малиновский же, узнав о том, отвечает: *«Что ж худого-то, понабрал я их, а они и пригодятся — мал золотник, да дорог»*. Так и пройдёт он по жизни добрым, душевным, достойным человеком; но решительно не примет весьма улыбающуюся карьеру: в 21 год будет полковником гвардии, но не захочет стать генералом — и никогда о том не пожалеет, рассылая друзьям из глухой провинции длинные письма (из-за дикого почерка и сложной манеры выражаться их мало кто поймёт больше чем наполовину).

*«Известие о взятии Парижа. Смерть Малиновского — безначалие. Чачков, Фролов» («Программа записок»).*

Весть о взятии Парижа и окончании войны 19-31 марта 1814. года ещё не успела дойти до Петербурга, как умер на 49-м году жизни директор Василий Малиновский. В последние годы ему, человеку доброму, мягкому, чистому, было особенно нелегко служить, «не прислуживаясь...».

Учеников не выпускали из Лицея в Петербург, но на похоронах директора, что состоялись на Охтенском кладбище, кроме министра Разумовского и всех служащих Лицея присутствовали пять воспитанников.

Дочь Ивана Малиновского много лет спустя со слов отца расскажет:

*«Уже на кладбище, когда опускали гроб в могилу для вечного успокоения, то Пушкин первый подошёл к своему другу Ивану Малиновскому, чтобы его утешить в его горе, и здесь, перед не засыпанной ещё могилой отца, они как бы поклялись в вечной дружбе»*.

Смерть отца была тяжёлым ударом для большой семьи (мать скончалась ещё раньше): Иван был старшим, кроме него оставалось двое братьев и четыре сестры; одна из них, Анна, станет женой декабриста Розена и разделит с ним сибирское заточение. Другая, Мария, выйдет замуж за Вольховского...

С 1814 года дом Малиновских — дом сирот. Скоро ощутит своё сиротство и весь Лицей...



И.В. Малиновский с сыном Антоном (1863 г.)

Первое время после смерти Василия Фёдоровича должность директора исправлял Гауеншильд, имевший привычку вечно жевать лакрицу. Даже самый верноподданный и несклонный к бунтарству Модест Корф вспомнит позже:

*«Гауеншильд был, может быть, столь же хороший профессор, сколько он был дурным учителем и ещё худшим директором. Родом из Австрии, он не нравился нам уже потому, что был немец и очень смешно изъяснялся по-русски. Сверх того, при довольно заносчивом нраве он был человек скрытный, хитрый, даже коварный».*

«Национальная песня» рождается очень быстро:

*В лицейском зале тишина*

*Диковинка меж нами:*

*Друзья, к нам лезет сатана*

*С лакрицей за зубами.*

*Друзья, сберемтеся гурьбой,*

*Дружнее в руки палку,*

*Лакрицу сплюснем за щекой,  
Дадим австрийцу свалку,  
И кто последний в классах врёт,  
Не зная век урока,  
«Победа!» первый заорёт,  
На немца грянув с бока.*

Потом на директорском месте временно оказывается инспектор полковник Фролов, человек вполне аракчеевского закала (он пользовался протекцией злобного временщика), хотя, как позже выяснилось, не лишённый добродушия. Теперь мальчиков водят шеренгами в церковь, не разрешают иначе как «по билетам» (то есть по записочкам самого Фролова) подниматься днём из классов в свои комнаты наверх-и вскоре этот начальник также прославлен подчинёнными (прославление относится к моменту появления нового, очередного директора, сменяющего Фролова):

*Ты был директором Лицея,  
Хвала, хвала тебе, Фролов,  
Теперь ты ниже стал Пигмея\*.  
Хвала, хвала тебе, Фролов.  
Ты первый ввёл звонка тревогу  
И в три ряда повёл нас к богу.  
Завёл в Лицее чай и булки,  
Умножил классные прогулки.  
Наверх пускал нас по билетам,  
Цензуру учредил газетам,  
Швейцара ссоришь с юнкерами,  
Нас познакомил с чубуками.\*\*  
Нашёл ты фИгуру\*\*\* в фигуре,  
И ум в жене, болтушке, дуре,  
Кадетских хвалишь грамотеев\*\*\*\*,  
Твой друг и барин Аракчеев.  
Тебе в лицо поют куплеты,  
Прими же милостиво эти.  
Но всё ли только петь Фролова?  
Хвала, хвала тебе, Фролов!  
Ты был директором Лицея,  
Хвала, хвала тебе, Фролов,*

*Теперь ты ниже стал Пигмея,  
Хвала, хвала тебе, Фролов.*

\* Пигмей — прозвище одного из наставников.

\*\* При Фролове, который целый день курил, многие лицеисты тоже стали курить.

\*\*\* Так Фролов выговаривал это слово.

\*\*\*\* Он служил раньше в кадетском корпусе.

Много начальников суеилось в лицейском безначалии. Мы не знаем, что хотелось написать Пушкину о Чачкове — всего восемь месяцев сей муж был надзирателем по учебной и нравственной части, зато лицейские карикатуры (Илличевского и других) изображают толпу профессоров, ползущую за милостями к министру народного просвещения Разумовскому, который тоже не оставляет Лицей своим попечением, а лучший лицейский поэт уж конечно не обойдёт и министра:

*На графа А. К. Разумовского*

*Ах! Боже мой, какую*

*Я слышал весть смешную:*

*Разумник получил ведь ленту голубую.*

*— Бог с ним! я недруг никому:*

*Дай бог и царствие небесное ему.*

Времена всё хуже — но разве могут все эти важные господа одолеть наших молодых весельчаков?

## ***XV. ГОГЕЛЬ-МОГЕЛЬ***

*Мы недавно от печали*

*Пущин, Пушкин, я, барон,*

*По бокалу осушали*

*И Фому прогнали вон...*

Так начиналась песня про одно весьма шумное лицейское происшествие.

Фома был дядька-слуга, которого начальство выгнало за историю с «гогель-могелем» (лицеисты собрали ему денег, сколько смогли). Дельвиг (барон) в деле не участвовал.

*«Предполагается, — вспоминал Пушкин, — что песню поёт Малиновский, его фамилию не вломаешь в стих. Барон — для рифмы... Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли вы-*

*пить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахара, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, а именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернёр заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты».*

Гауеншильд, справлявший тогда должность директора, донёс министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал троих из класса и вынес им строгий выговор. Этим не кончилось — министр приказал лицейскому начальству прибавить ещё наказания по собственному разумению.

Постановили:

*«1) две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы;*

*2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению; и*

*3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора в чёрную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске».*

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчался по усмотрению начальства: последних по истечении некоторого времени постепенно продвигали опять вверх...

*«По этому поводу, — помнит Пущин, — были тут же сложены стишки, не слишком складные, но весёлые и красноречивые»:*

*Блажен муж, иже  
Сидит к каше ближе;  
Как лексикон,  
Растолстееет он.  
Не тако с вами —  
С первыми скамьями,  
Но яко скелет  
Будете худеть.*

В числа, места («первый, последний»), любили играть — всю жизнь подписывали письма друг другу лицейскими номерами. Начальство же любило выстраивать их сообразно успехам: номер первый (из 30 возможных) — Горчаков или Вольховский. Пушкин шёл восемнадцатым, девятнадцатым, потом и ниже.

Но эту табель рангов лицейская братия (или, как сами себя честили, «скотобратия») отвергает решительно и демократически:

*Этот список сущи бредни.  
Кто тут первый, кто последний,  
Все нули, все нули,  
Ай люли, люли, люли...*

К счастью для провинившихся, последний их директор Энгельгардт убрал порочащую запись из «чёрной книги» — и от всей истории осталось лишь очередное послание №14-го к №13-му:

*Помнишь ли, мой брат по чаше,  
Как в отрадной тишине  
Мы топили горе наше  
В чистом, пенистом вине?  
Как, укрывшись молчаливо  
В нашем тёмном уголке,  
С Вакхом нежились лениво,  
Школьной стражи вдалеке?  
Помнишь ли друзей шептаны  
Вкруг бокалов пуншевых,  
Рюмок грозное молчанье,  
Пламя трубок грошовых?  
Закипев, о сколь прекрасно  
Токи дымные текли!...  
Вдруг педанта глас ужасный  
Нам послышался вдали...  
И бутылки вмиг разбиты,  
И бокалы все в окно —  
Всюду по полу разлиты  
Пуни и светлое вино.  
Убегаем торопливо —*

*Вмиг исчез минутный страх!  
Щёк румяных цвет игривый,  
Ум и сердце на устах,  
Хохот чистого веселья,  
Неподвижный, тусклый взор  
Изменяли час похмелья,  
Сладкий Вакха заговор.  
О друзья мои сердечны!  
Вам клянуся, за столом  
Всякий год в часы беспечны  
Поминать его вином.*



Иван Иванович Пущин писал свои мемуары на склоне дней, 40 лет спустя, однако по многим проверкам видно, как хорошо и свежо он всё запомнил. Пир, вино, Вакх — об этом много, часто упоминалось в лицейских стихах. Пиреи запретные («гогель-могель») и пиры, где участвуют некоторые любезные учителя, например Александр Иванович Галич:

*О Галич, верный друг бокала  
И жирных утренних пиров,  
Тебя зову, мудрец ленивый,  
В приют поэзии счастливой,  
Под отдалённый неги кров.  
Давно в моём уединении,  
В кругу бутылок и друзей,  
Не зрели кружки мы твоей,  
Подруги долгих наслаждений,  
Острот и хохота гостей...*

Смешно и скучно в весёлых лицейских попойках видеть нечто вроде «общественного протеста», освобождения; но глупо было бы не видеть, что чаша, заздравный кубок, легко и небрежно переходит в вольность, даже символизирует её.



Вскоре после окончания Лицея многие воскликнут вместе с Пушкиным:

*Пусть остылой жизни чашу  
Тянет медленно другой;  
Мы ж утратим юность нашу  
Вместе с жизнью дорогой.  
Ещё через несколько лет:  
Подыдем бокалы, содвинем их разом!  
Да здравствуют музы, да здравствует разум*

В Лицее же вскоре после только что описанной истории мы наблюдаем проштрафившихся «мужей с разных концов обеденного стола», когда они собираются возле заболевшего Пушкина.

Вот они, «пирующие студенты»: им 15-16 лет, весёлые, свободные, не видимые в этот час начальством!

Мы позволим себе «на полях» этого стихотворения дать несколько кратких объяснений:

*Друзья, досужный час настал;  
Всё тихо, всё в покое;  
Скорее скатерть и бокал!  
Сюда, вино златое!  
Шипи, шампанское, в стекле.  
Друзья, почто же с Кантом  
Сенека, Тацит на столе,  
Фольянт над фолиантом?  
Под стол холодных мудрецов,  
Мы полем овладеем;  
Под стол учёных дураков!  
Без них мы пить умеем.*

Однажды  
Дельвиг, не  
выучив, как  
обычно, урока,  
спрятался под  
кафедрой

*Ужели трезвого найдем  
За скатертью студента?  
На всякий случай изберем  
Скорее президента.  
В награду пьяным — он нальёт  
И пунш и грог душистый,*

а там уснул

*А вам, спартанцы, поднесёт.  
Воды в стакане чистой  
Апостол неги и прохлад,  
Мой добрый Галич, Vale!  
Ты Эпикуров младший брат,  
Душа твоя в бокале.  
Главу венками убери,  
Будь нашим президентом,  
И станут самые цари  
Завидовать студентам.  
Дай руку, Дельви́г! Что ты спишь?  
Проснись, ленивец сонный!  
Ты не под кафедрой сидишь,  
Латынью усыплённый.  
Взгляни: здесь круг твоих друзей;  
Бутыль вином налита,  
За здоровье нашей музыки пей,  
Парнасский волокита.*

Илличевский

*Остряк любезный, по рукам!  
Полней бокал досуга  
И вылью сотню эпиграмм  
На недруга и друга.*

Скорее всего  
князь Горчаков,  
хотя  
«сиятельным  
повесой» был  
и граф  
Броглио.

*А ты, красавец молодой  
Сиятельный повеса!  
Ты будешь Вакха жрец лихой,  
На прочее — завеса!  
Хотя студент, хотя и пьян  
Но скромность почитаю;  
Придвинь же пенистый стакан,  
На брань благословляю.*

Конечно же  
Пуцин!

*Товарищ милый, друг прямой,  
Тряхнём рукою руку,  
Оставим в чаше круговой*

*Педантам сродну скуку:  
Не в первый раз мы вместе пьём,  
Нередко и бранимся  
Но чашу дружества нальём —  
и тотчас помиримся.*

Миша Яковлев  
— *Паяс*,  
вспомним  
его неудачу  
с баснями!

*А ты, который с детских лет  
Одним весельем дышишь,  
Забавный, право, ты поэт,  
Хоть плохо басни пишешь;  
С тобой тасуюсь без чинов,  
Люблю тебя душою,  
Наполни кружку до краев, —  
Рассудок, бог с тобою*

Иван  
Малиновский —  
Казак; поэтому  
вспомнят  
и Платов,  
знаменитый  
Донский атаман

*А ты, повеса из повес,  
На шалости рожденный,  
Удалый хват, головорез,  
Приятель задушевный,  
Бутылки, рюмки разобьём  
За здравие Платова,  
В казачью шапку пуни нальём —  
И пить давайте снова!..*

Разумеется,  
первый  
гитарист  
Николай  
Корсаков

*Приблизься, милый наш певец,  
Любимый Аполлоном!  
Воспой властителя сердец  
Гитары тихим звоном.  
Как сладостно в стесненну грудь  
Томленье звуков льётся!..  
Но мне ли страсть вздохнуть?  
Нет! пьяный лишь смеётся*

Опять  
Яковлев —  
учившийся на

*Не лучше ль, Роде записной,  
В честь Вакховой станицы  
Теперь скрыпеть тебе струной*

скрипке  
(отсюда и  
насмешка:  
Роде —  
известный  
скрипач).

*Расстроенной скрипицы?  
Запойте хором, господа,  
Нет нужды, что не складно;  
Охрипли — это не беда:  
Для пьяных всё ведь ладно!*

*Но что?.. я вижу всё вдвоём;  
Двоится шкаф с араком;  
Вся комната пошла кругом;  
Покрылись очи мраком...  
Где вы, товарищи? где я?  
Скажите Вакха ради...  
Вы дремлете мои друзья,  
Склонившись на тетради...  
Писатель за свои грехи,  
Ты с виду всех трезвее;  
Вильгельм, прочти свои стихи  
Чтоб мне заснуть скорее.*

Пуштин вспоминал, как впервые читалось это стихотворение:

*«После вечернего чая мы пошли гурьбой с гувернёром Чириковым к больному Пушкину. Началось чтение:*

*Друзья, досужный час настал,  
Всё тихо, всё в покое и пр.*

*Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении. Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:*

*Писатель за свои грехи,  
Ты с виду всех трезвее;  
Вильгельм, прочти свои стихи,  
Чтоб мне заснуть скорее.*

*При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, расставив под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от*

неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина ещё раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой».

## **XVI. СЛОВАРЬ И МУДРЕЦЫ**

*Златые дни! уроки и забавы,  
И чёрный стол, и бунты вечеров,  
И наш словарь, и плески мирной славы,  
И критики лицейских мудрецов!*

Эти строки, написанные через восемь лет после окончания Лицея (черновик стихотворения «19 октября»), обращены ко всем «посвящённым», но более всего — к Кюхле.

«Чёрный стол» — для последних или провинившихся.

Бунты, плески, забавы — нам понятны.

«Наш словарь». В 1928-1929 годах замечательный советский писатель, учёный Юрий Николаевич Тынянов выкупил у одного антиквара большую партию бумаг Кюхельбекера. Кое-что успел напечатать, многое погибло во время блокады Ленинграда. Среди рукописей находилась объёмистая тетрадь плотной синей бумаги, в которой рукой Кюхли было исписано 245 страниц: «словарь» — свод философских, моральных, политических и литературных вопросов, интересовавших Кюхельбекера и его друзей...

Эпиграфом лицеист поставил изречение: *«Средством извлечь из своих занятий всю возможную пользу, тем самым, к которому прибегали Декарты, Лейбницы, Монтескьё и многие другие великие люди, является обыкновение делать выписки из читаемого, выделяя наиболее существенные положения, наиболее правильные суждения, наиболее тонкие наблюдения, наиболее благородные примеры».*

Сверху, по-видимому, позднее, приписано:

*«Je prends mon bien, ou je le trouve».* — «Я беру своё добро там, где нахожу» (Мольер).

Перелистывая тетрадь, Тынянов находил выписки по таким, например, темам, как «Аристократия», «Естественное состояние», «Естественная религия», «Картина многих семейств большого света», «Знатность происхождения», «Образ правле-

ния», «Низшие (справедливость их суждений)», «Обязанности гражданина-писателя», «Проблема», «Рабство», «Хорошее и лучшее», «Пётр I», «Война прекрасная», «Свобода».

Множество цитат различных философов, но как любопытно — что именно выписывает лицеист!

### **«Знатность происхождения»**

*Тот, кто шествует по следам великих людей, может их почитать своими предками. Список имён будет их родословною».*

### **«Рабство»**

*Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на петлю, которая суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на верёвке, или борись, но с твёрдым намерением разорвать петлю или удавиться. Редко, чтоб умеренные усилия не были пагубны».*

Из Шиллера выписано:

*«Государь (самодержец) всегда будет почитать гражданскую свободу за отчужденный (то есть отнятый у него) удел своего владения, который он обязан обратно приобрести. Для гражданина самодержавная верховная власть — дикий поток, опустошающий права его».*

Таков был словарь Кюхельбекера. Пушкин пишет: «*наш словарь*» потому, очевидно, что тетрадка читалась и обсуждалась многими. Точно так же, как и известный журнал «Лицейские мудрецы».

Журнал сохранился чудом. Его долго считали утраченным вместе с бумагами Николая Корсакова; однако благодаря Яковлеву и Матюшкину полвека спустя отыскан небольшой альбом в тёмно-красном сафьяновом переплёте, а в нём четыре номера журнала.

*«В типографии Данзаса; Печатать позволяется. Цензор барон Дельвиг».*

Почерк Корсакова, Данзаса (лентяй Кабул заделался прозаиком!). Участвует и ещё несколько лицейских (Мартынов, Ржевский). Рисунки Илличевского.

Каковы темы, сюжеты, герои?

Прежде всего, остроумие, не всегда, впрочем, блестящее (чьё именно, не знаем...).

### **Осёл-философ**

*Я слышал, помнится, где-то, что в древние века ослы были в большом почёте...*

*Племя разумных ослов почти совсем истребилось; однако же оставалось несколько ослов, которые, несмотря на пагубное течение залива правды, на сияние, как бы сказать, лягушечного сиропа, потеряли всякий бюст всемирной истории...*

*Что, Читатель?.. Неужто не понял ты, что это бессмыслица? Экой дурак! смейтесь над ним...*

*Ха!.. ха!.. ха!.. ха!..*

### **Литературная критика**

*Милостивый государь! Недавно, по причине семейственных обязанностей, пошёл я на рынок для покупок. Набравши провизии, я возвратился домой, но не могу представить вам моего удивления, когда увидел, что сёмга и колбасы обёрнуты какими-то стихами и какой-то балладой. Я знал, что употребляют часто газеты и журналы для обёрток; но не думал, чтобы сочинение стихами, и даже баллада может служить кровлею для колбасов. Любопытство заставило меня разобрать и, несмотря на пятна, удалось мне прочесть несколько слов. Вот они:*

Заглохшей, скользкою тропою,  
Средь смежных с небом гор,  
Идёт трепеща над клюкою,  
Нещастный алманзор.  
Дитя ведёт его в пустыне,  
Его на век померкнул взор.

.....

И рёв потока усыпился,  
И вод падающих стук,  
И горный ветер укротился, —  
Всё расцвело вокруг.  
И улыбнулся дол вдали туманной  
И гул пронёс свирели звук.

*Постой любезный читатель: Алманзор идёт заглохшей тропою средь смежных с небом гор, в пустыне. Автор позабыл,*

*что пустыня не есть горы, это маленькая вольность, прости ему. Вот красоты, если ты не восхитился, то у тебя холодно, как лёд в сердце: «рёв усыпился» так и «стук падающих вод» — два выражения совершенно поэтические. Говорится «гул несётся», а не «гул несёт», но на это истинный гений не смотрит.*

По всей видимости, это разбор каких-то сочинений Кюхельбекера: Кюхля-по-прежнему одна из главных мишеней, вместе с Мясожоровым.

*«На этих днях произошла величайшая борьба между двумя монархиями. — Тебе известно, что в соседстве у нас находится длинная полоса земли, называемая Бехелькюкериада, производящая великий торг мерзейскими стихами и, что ещё страшнее, имеющая страшнейшую артиллерию. В соседстве сей монархии находилось государство, называемое Осло-Доясомев (перестановка букв в фамилии Мясоедов), которое известно по значительному торгу лорнетами, париками, цепочками, чепцами и проч. и проч. Последняя монархия, желая унижить первую, напала с великим криком на провинцию Бехелькюкериады, называемую глухое ухо, которая была разграблена; но за то сия последняя отомстила ужаснейшим образом: она преследовала неприятеля и, несмотря на все усилия королевства Рейема (губернёр Мейер), разбила совершенно при местечках Щёк, Спин и проч. и проч.»*

Издатель Данзас, жалуясь, что ему не присылают материалов, угрожает:

*«Если же для будущего номера вы мне ничего не пришлёте стихотворного или прозаического, если же ваши Карамзины не развернутся и не дадут мне каких-нибудь смешных разговоров, то я сделаю вам такую штуку, от которой вы нескоро отделаетесь. Подумайте. — Он не будет издавать журнала?.. — Хуже!.. Он натрёт ядом листочки Лицейского мудреца?.. — Вы почти угадали: я подарю вас усыпительною балладою г-на Гезеля!! (То есть Кюхельбекера)»*

Стихи, эпиграммы, рассказы «О Наполеоне», изящная словесность, карикатуры, «национальные песни», снова — Кюхля, «Исповедь Мясожорова»... Но среди невинных острот одна вполне на уровне эпиграммы «Двум Александрам Павловичам».



Безымянный автор (возможно, Илличевский) поместил в «Мудреце» свою идиллию «Арист и Глупон», где Глупон горюет, что никак не увидит странствующего по свету царя. Трудно не узнать Александра I, который годами заседает за границей «в конгрессах» Священного союза, кого Пушкин через несколько лет назовёт «кочующий деспот».

Что же отвечает Глупону Арист?

*Утешься, о Глупон! гуляющий твой Царь  
Из всех земных владык мудрейший государь.*

*В конгрессе ныне он трудится*

*(За красным спит сукном),*

*Но долго, долго он домой не возвратится;*

*Скорее совертится*

*С пути небесная луна*

*Или в Сенате появится Прокофьева жена!*

Прокофий был одним из лицейских дядек...

Пушкин в «Лицейском мудреце» не участвует, но он один из главных читателей (самый главный, естественно, — «цензор Дельвиг») — и позже захочет напомнить всепрощающему Кюхле «и плески мирной славы, И критики лицейских мудрецов...».

## ***XVII. СТАРИК ДЕРЖАВИН***

*Моя студенческая келья*

*Вдруг озарилась: муза в ней*

*Открыла пир молодых затей,*

*Воспела детские веселья,*

*И славу нашей старины,*

*И сердца трепетные сны...*

*И свет её с улыбкой встретил;*

*Успех нас первый окрылил;*

*Старик Державин нас заметил*

*И, в гроб сходя, благословил.*

Когда стало известно о приезде в лицей Державина, учитель словесности Галич уговорил, даже заставил, Пушкина написать стихи, достойные прочтения пред великим стариком. А за несколько дней до экзамена министр Разумовский потребовал, чтобы при нём провели «репетицию», и там-то Пушкин прочёл «Воспоминания в Царском Селе» первый раз.

Итак, гости съезжаются: важные генералы, официальные лица, родственники лицеистов (в их числе Сергей Львович Пушкин)...

*«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?»».*

*Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наши очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблестали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной».*

О публичном экзамене было заранее объявлено в газете:

*«Императорский царскосельский Лицей имеет честь уведомить, что 4 и 8 числа будущего месяца (январь 1815 года), от 10 часов утра до 3 пополудни, имеет быть в оном публичное испытание воспитанников первого приёма, по случаю перевода их из младшего в старший возраст».*

Это был экзамен, «смотр» — чему научились за три с лишним года, ибо достигли середины...

Державин был прижизненной легендой; автор «Памятника» уже почти стал памятником. В одном из первых пушкинских стихов названы «Дмитриев, Державин, Ломоносов, певцы бессмертные и честь и слава россов...».

Впрочем, дерзкие лицейские мальчишки, ещё не перешедшие в «старший возраст», не так уж безоговорочно преклонялись перед личным высоким авторитетом. Конечно, чтили, но разве есть что-либо, над чем не посмеются?

Однажды юный Пушкин заставляет тень давно умершего Фонвизина навестить престарелого собрата Державина:

*«Так ты здесь в виде привиденья?..-*

*Сказал Державин, — очень рад;*

*Прими мои благословенья...*

*Брысь, кошка!.. сядь, усопишь брат;*

*Какая тихая погода!*

*Но, кстати, вот на славу ода, —*

*Послушай, братец». — И старик,*

*Покашляв, почесав парик,*

*Пустился петь своё творенье,*

*Статей библейских преложенье...*

Совсем немного осталось жить автору «Фелицы», «Водопада», «На смерть князя Мещёрского» — человеку, видевшему уже пятое царствование. Своими глазами Преображенский солдат Державин наблюдал свержение и гибель Петра III, а сорок лет спустя поэт и одновременно министр юстиции попытается влиять на юного Александра I.

*«Наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»*

*Пою мои мечты, природу и любовь,*

*И дружбу верную, и милые приметы,*

*Пленявшие меня в младенческие леты,*

*В те дни, когда, ещё не знаемый никем,*

*Не зная ни забот, ни цели, ни систем,*

*Я пеньем оглашал приют забав и лени*

*И царскосельские хранительные сени.*

Говорили, будто Гаврила Романович воскликнул: *«Я не умер!»*

После экзамена состоялся торжественный обед, где Разумовский, слышавший стихи Пушкина второй раз, решил ска-

зять нечто приятное отцу поэта и намекнул на то, что дело не в стихах, а в той карьере, которая откроется юному лицеисту.

*«Я бы желал, — произносит министр, — однако же образовать сына вашего в прозе».*

*«Оставьте его поэзии», — с жаром ответил Державин.*

Через несколько месяцев Гаврила Романович говорит приехавшему к нему в гости С.Т.Аксакову, что *«скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который ещё в Лицее переещеголял всех писателей».*

Пройдёт ещё год с небольшим, и лицеисты узнают о смерти Державина.

Тогда-то Дельвиг под свежим впечатлением события сочинит пророческие строки:

*Державин умер! чуть факел погасший дымится, о Пушкин!*

*О Пушкин! нет уж великого! Музы над прахом рыдают;*

.....

*Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин,*

*Атлет молодой, кипящий лететь по шумной арене,  
В порыве прекрасной души её свежим венком увенчает?*

*Молися Каменам!" И я за друга молю вас, Камены!*

*Любите молодого певца, охраняйте невинное сердце,  
Зажгите возвышенный ум, окриляйте юные персты!*

*Но и в старости грустной пускай он приятно по лире,  
Гремящей сперва, ударяя, уснёт исчезающим звоном.*

Не будет у обоих — ни у Дельвига, ни у Пушкина — державинской старости. Десять лет спустя Пушкин задумается о своём Ленском:

*Быть может, он для блага мира*

*Иль хоть для славы был рождён;*

*Его умолкнувшая лира*

*Гремучий, непрерывный звон*

*В веках поднять могла. Поэта,*

*Быть может, на ступенях света*

*Ждала высокая ступень...*

Но пока, в 1815 году, после кратких мгновений грусти у юных лицейских стихотворцев снова ощущение неизбежного счастья, молодой удачи.

И пишутся эпиграммы на чрезмерный аппетит Данзаса...

И вдруг все кидаются на лёд, «окрылив железом ноги» (выражение «воспитанника Пушкина»).

А Яковлев уже не просто паяс, а «паяс 200 номеров», что означает его умение изобразить 200 различных фигур (то есть лиц, зверей, ситуаций): сохранился составленный Матюшкиным список этих фигур, среди которых:

1. *Граф Разумовский.*
2. *Директор Малиновский.*
3. *Март. Пилецкий.*
4. *Фролов.*
5. *Будри.*
6. *Гауенишльд.*
7. *Кошанский.*
8. *Галич и другие наставники, служители*  
— всего 40 человек.

Затем —

42. *Пушкин.*
43. *Гревениц.*
44. *Дельвиг.*
45. *Яковлев (младший брат Паяса).*
46. *Есаков.*
47. *Кюхельбекер.*

Кроме того, Яковлев изображал всё и всех:

77. *Чухонская и*
78. *Персидская песни*
87. *Стадо.*
88. *Индийский петух.*
89. *Черепаша.*
92. *Двойная харя.*
93. *Медведи-итальянцы.*
94. *Их проводники.*
97. *Поросёнок.*
98. *Самовар.*
124. *Обманули дурачка.*

131. Суворов.

147. Родня Гауенишльда.

161. Сын отечества (журнал!).

Под номером 129 мемуарист Матюшкин просит разрешения «пропустить имя»: мы понимаем — сам Александр II!

И кто же догадается в ту пору, что шутливейшая эпитафия — акrostих Николаю Ржевскому (вероятно, сочинение Илличевского) — это предсказание первой лицейской смерти:

*Родясь как всякий человек,  
Жизнь отдал праздности, труда как зла страшился,  
Ел с утра до ночи, под вечер спать ложился;  
Встав, снова ел да пил, и так провёл весь век.  
Счастливец, на себя он злобы не навлёк;  
Кто, впрочем, из людей был вовсе без порока?  
И он писал стихи, к несчастью, без прока.  
И разве Пушкин не написал незадолго до этого сам себе:  
Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою,  
С любовью, ленью провёл весёлый век,  
Не делал доброго, однако ж был душою,  
Ей-богу, добрый человек.*

Смерть казалась очень далёкой, лёгкой, нереальной, не то что любовь, близкая и мучительная...

### ***XVIII. ПОЛЮБИЛИ***

*« 29 ноября, 1815. Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — её не видно было! Наконец, я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с ней на лестнице — сладкая минута!..*

*Он пел любовь, но был печален глас,  
Увы, он знал любви одну лишь муку!*  
(Жуковский)

*Как она мила была! как чёрное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел её 18 часов — ах! какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут».*

---

*Мы вспомнили б, как Вакху приносили  
Безмолвную мы жертву в первый раз.*

*Как мы впервой все трое полюбили,  
Наперсники, товарищи проказ...*

«Все трое» — это Пущин, Пушкин, Малиновский. О любви они все давно пишут, толкуют, хвастают и мечтают. Горчакову только что написано послание: «знак», эмблема, подходящая другу-красавцу, — стрела Амура или Эрота — Любовь.

*Что должен я, скажи, сейчас  
Желать от чиста сердца другу?  
Глубоку ль старость, милый князь,  
Детей, любезную супругу,  
Или богатства, громких дней,  
Крестов, алмазных звёзд, честей?*

.....

*Дай бог любви, чтоб ты свой век  
Питомцем нежным Эпикура  
Провёл меж Вакха и Амура!*

Ещё два года назад в пушкинских стихах возникает некая Наталья, Наташа, крепостная актриса из царскосельского театра графа Варфоломея Толстого.

*Так и мне узнать случилось,  
Что за птица Купидон;  
Сердце страстное пленилось;  
Признаюсь — и я влюблён!  
Так, Наталья! признаюсь,  
Я тобою полонён..*

Впрочем, Купидон не может изгнать ироническую наблюдательность молодого человека, взирающего на «прекрасную Клоу» (вероятно, всё ту же Наталью) из зрительного зала:

*Ты пленным зрителя ведёшь,  
Когда без такта ты поёшь,  
Недвижно стоя перед нами,  
А мы усердными руками  
Все громко хлопаем...  
Когда Милана молодого,  
Лепеча что-то не для нас,  
В любви без чувства уверяешь;*

*Или без памяти в слезах,  
Холодный испуская ах!  
Спокойно в креслы упадаешь,  
Краснея и чуть-чуть дыша, —  
Все шепчут: «Ах! как хороша!»  
Увы! другую б освистали:  
Велико дело красота  
О Кля, мудрые солгали:  
Не всё на свете суета.*

Все следующие предметы воздыхания, реальные или воображаемые красавицы, скрыты под приличными мифологическими псевдонимами — милая Эльвина, чудная Химена, юная Хлоя, гордая Елена, Лила, Темира; но вот «*милая Бакунина*».

Екатерина Павловна Бакунина, фрейлина, художница, может быть, услышит о тройственном лицейском «воздыхании» много позже, когда уже станет госпожой Полторацкой, а Пушкин (к тому времени давно женатый) побывает на её свадьбе.

Тринадцать лет спустя поэту предложат в дружественной семье Ушаковых перечислить свои увлечения. В альбом вносится известный полузашифрованный (одни имена!) «дон-жуанский список» из 37 персон: в начале — Наталья I... Катерина I.

*Вот здесь лежит больной студент;  
Его судьба неумолима.  
Несите прочь медикамент:  
Болезнь любви неизлечима!*

Так шутками, проказами и вздохами начиналась в те месяцы пушкинская любовная лирика...

Шестьсот тридцать раз в стихах, прозе и письмах поэта встречаются слово «любовь», сотни раз «любить», «любимый», «любовник», «влюбиться»...

Как легко и быстро окружающие находили в поэте легкомысленного ветреника, пылкого волокиту, равнодушного «искателя наслаждений»! Как часто и лукаво Пушкин подыгрывал этим мнениям, слухам, принимая позу «Ловласа», «Дон-Жуана» и других популярных «сокрушителей прекрасного пола...»!

И вдруг — строки, лучшие из лучших, и вроде бы откуда им взяться? Как мог такой ветреник так почувствовать?



И как нам вернее понять поэта: от него переходя к стихам или от стихов — к нему?

*Я Вас любил: любовь ещё, быть может,  
В душе моей угасла не совсем;  
Но пусть она Вас больше не тревожит,  
Я не хочу печалить Вас ничем...  
Мне дружбы руку подала,  
Она любви подобна милой...  
Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И, может быть, на мой закат печальный  
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.*



## **XIX. ДУХ ЛИЦЕЙСКИХ ТРУБАДУРОВ**

*«Жуковский дарит мне свои стихотворения...»*

*«10 декабря 1815 года.*

*Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разума человеческого: Право естественное». Читал её С. С. (вероятно, С.С. Фролову) и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! — Поутру читал «Жизнь Вольтера».*

*Начал я комедию — не знаю, кончу ли её. Третьего дня хотел я начать ироическую поэму «Игорь и Ольга», а написал эпигramму на Шаховского, Шихматова и Шишкова — вот она:*

*Угрюмых тройка, есть певцов:*

*Шахматов, Шаховской, Шишков.*  
*Уму есть тройка супостатов:*  
*Шишков наш, Шаховской, Шахматов.*  
*Но кто глупей из тройки злой?*  
*Шишков, Шахматов, Шаховской!»*

Учиться ещё почти два года... Меж тем в Лицей опять приезжают знаменитые литературные гости, в основном для того, чтобы познакомиться с необыкновенным поэтом, их везёт Жуковский, который совсем недавно писал:

*«Я сделал ещё приятное знакомство! с нашим молодым Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности».*

Жуковский называет его «будущим гигантом, который всех нас перерастёт». «Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки — прекрасное! Это лучшее его произведение».

Пушкинское послание, увы, не сохранилось. Дружба же с Василием Андреевичем — на всю жизнь!

Во время первых свиданий тридцатидвухлетний Жуковский читает свои стихотворения шестнадцатилетнему Пушкину, и те строки, которые Пушкин не может сразу запомнить, уничтожает или переделывает. Пройдёт ещё несколько месяцев — и Жуковский пришлёт свои стихотворения с надписью: «Поэту товарищу Ал. Серг. Пушкину от сочинителя».

Ещё через три года: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».

Впрочем, та поэма, которая вызвала преклонение Жуковского, — «Руслан и Людмила», — та поэма начата на стенке карцера, куда в очередной раз отправлен лицеист Пушкин...

Жуковский привозит в Лицей одного из самых знаменитых для культурной России людей — Николая Михайловича Карамзина, того самого, которого разглядывал в отчет доме ещё Пушкин-малыш.. Вместе с Карамзиным приезжают Вяземский, Александр Тургенев, а также отец и дядя Пушкина.

Иван Малиновский утверждал, что, войдя в класс, Карамзин сказал Пушкину: «Пари, как орёл, но не останавливайся в

полёте» и Пушкин «с раздутыми ноздрями — выражение его лица при сильном волнении — сел на место при общем приличном приветствии товарищей».

В это время Пушкин уже полноправный член молодого, дерзкого, весёлого литературного союза «Арзамас». Цель арзамасцев борьба за просвещение, против главного литературного противника — «Беседы любителей русского слова», «отверженных Феба»:

*Ни прозы, ни стихов не послан дар от неба.*

*Их слово — им же стыд; творенья — смех уму;*

*И в тьме возникшие низвергнутся во тьму.*

Послание Пушкина «К Жуковскому»

*«Сказать правду, — напишет в те дни Карамзин, — здесь не знаю ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть».*

Каждый арзамасец имеет весёлое прозвище: Жуковский — Светлана (в честь героини своего стихотворения); Вяземский — Асмодей (в честь «адского духа» с таким именем); дядюшка Василий Львович — Вот («Вот Вам!», «Вот я Вас!»). Арзамасцев восхищает молодой лицейский собрат. *«Если этот чертёнок, — острит Вяземский, — так размашисто будет шагать и впредь, то кому быть на Парнасе дядей, а кому племянником?»*

Василий Львович поражён и польщён столь необыкновенны успехом мальчишки, которого он недавно отвозил в Лицей (и по пути занимал деньги). Дядя восклицает: *«Мы от тебя многого ожидаем!»* — и величает племянника братом.

*В ответ:*

*Я не совсем ещё рассудок потерял*

*От рифм вакхических, шатаюсь на Пегасе,*

*Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад,*

*Нет, нет — вы мне совсем не брат:*

*Вы дядя мне и на Парнасе.*

Вослед уехавшим коллегам из «нумера 14-го» отправляется истинно арзамасское письмо:

*27 марта 1816 г. из Царского Села в Москву.*

*Князь Пётр Андреевич,*

*Так и быть, уж не пеняйте, если письмо моё заставит зевать ваше пиэтическое сиятельство; сами виноваты, зачем*

дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дѣргает бешеный демон бумагомарания.

Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или лицей, только ради бога не лица) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Правда, время нашего выпуска приближается; остался год ещё. Но целый год ещё плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год ещё дремать перед кафедрой... это ужасно. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей русского слова. Но делать нечего.

*Не всем быть можно в ровной доле,*

*И жребий с жребием не схож.*

От скуки часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше. Любезный арзамасец! утешьте нас своими посланиями — и обещаю вам если не вечное блаженство, то по крайней мере искреннюю благодарность всего Лицея...

*Не знаю, успею ли написать Василию Львовичу. На всякий случай обнимите и его за ветреного племянника.*

*Александр Пушкин.*

*Ломоносов вам кланяется».*

Первое сохранившееся письмо Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому — поэту, писателю, мыслителю: начинается переписка и дружба до конца жизни.

Биография же лицеиста Пушкина отныне как бы раздвоилась: вершины словесности, литературной дружбы — и при том отметки, лицейские обязанности, карцер...

Он уже автор десятка стихотворений — «К Наташе», «Городок», «Лицинию», «Наполеон на Эльбе», «Гроб Анакреона», «К живописцу», «Усы», «Желание», «Друзьям» — некоторые уже в печати, другие в списках, многие разучиваются товарищами, знакомыми.



Кубок янтарный  
Полон давно,  
Пеной угарной  
Блещет вино.  
Света дорожке  
Сердцу оно;  
Но за кого же  
Выпью вино?  
Заздравный кубок  
Мечты, мечты,  
Где ваша сладость?  
Где ты, где ты,  
Ночная радость?  
Пробуждение  
Я видел смерть; она в молчанье села  
У мирного порогу моего...  
Элегия

Молодой автор уже набрасывает план первого поэтического сборника.

Позже, после Лицея, его примут в «Арзамас» по всей форме и назовут *Сверчком*: в «Светлане» Жуковского — *«Крикнул жалобно сверчок, вестник полуночи»*. Другой же арзамасец, Вигель, запишет: *«Я не спросил тогда, за что его назвали Сверчком — теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой прекрасный голос»*.

А «спрятанный в стенах» — по учебным успехам то на 19-м, то на 23-м, то на 26-м, 28-м месте. Взглянем на отметки поэта за сентябрь-декабрь 1816 года, учитывая, что в Лицее ставили единицу за отличные успехи, двойку — за очень хорошие, тройку — за хорошие, четвёрку — за посредственные и нуль *«за выражение отсутствия всякого знания, равно для означения дурного поведения»*.

Итак, у Пушкина: энциклопедия права — 4, политическая экономия — 4, военные науки — 0, прикладная математика — 4, всеобщая политическая история — 4, статистика — 4, латинский язык — 0, российская поэзия — 1, эстетика — 4, немецкая риторика — 4, французская риторика — 1, прилежание — 4, поведение — 4.

Никакой середины: два предмета отличных, остальные — посредственно или никак: *«Последним я, иль Брольо, иль Данзас...»*

Сверчок на Парнасе...

Парнас, однако, переносится в лазарет, где Пушкин, болея или желая болеть, охотно проводит дни и недели, отбиваясь от попыток лицейского лекаря Пешеля помочь юному организму. Арзамасцы же переживают за молодого собрата, но притом частенько, иногда справедливо, иногда незаслуженно, корят *Сверчка* за малые знания, легкомыслие — думают, что ему не помешало бы поучиться в каком-нибудь знаменитом западноевропейском учебном заведении. *«Сверчок что делает? — спрашивает несколько позже Константин Батюшков, один из лучших поэтов «арзамасских и русских».* — *Кончил ли свою поэму? Не*

*худо бы его запереть в Гёттинген и кормить года три молочным супом и логикой. Из него ничего не будет путного, если он сам ;не захочет. Потомство не отличит его от двух однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его Музы и молитвы наши!»*

Пушкин, по правде говоря, и сам знает, что многому следовало бы подучиться... Позже, в Кишинёве, будет звонко хохотать, когда не сумеет показать на карте какое-то известное географическое место, а вызванный тут же крепостной слуга одного из офицеров — сумеет...

В Михайловской ссылке Пушкин, как говорили, прочёл двенадцать подвод книг... Учился он всю жизнь — опасения же друзей, что «промотает», «забудет», с самого начала были неосновательны... За маской, внешним покровом легкомыслия вырабатывался не только талант, но и серьёзнейший мыслитель, умнейший человек. Иначе ничего бы нам не оставил...

Но это всё станет ясно позже — не сейчас, когда он веселится в лицейском лазарете, когда происходит событие, обогащающее весёлую лицейскую поэзию тёмной житейской прозой.

Полиция открывает, что лицейский дядька Константин Сазонов совершил в Царском Селе и окрестностях шесть или семь убийств. Публика извещена: *«Взят под стражу здешнюю городскою милицией служитель Лицея из вольноопределяющихся Константин Сазонов за учинённое им в городе Царское Село смертоубийство, в коем он сам сознался»*. Тут же, естественно, появляется коллективная национальная поэма «Сазоновиада» из двух песен и столь низкого качества, что вызывает отклик «издателя»:

*«Вот начало такого стихотворения, которое если будет продолжено, то принесёт истинную честь всей национальной лицейской литературе. Желательно было бы, чтоб оно было кончено, но автор оной... знает, чего требует его гений? — Кулаков!!!»*

Отозвался на события и выздоравливающий поэт:

*Заутра с свечкой грошевою*

*Явлюсь пред образом святым:*

*Мой друг! остался я живым,*

*Но был уж смерти под косою:  
Сазонов был моим слугою,  
А Пешель лекарем моим.*

Меж тем после долгого лицейского безначалия — теперь новый, прогрессивный директор: Егор Антонович Энгельгардт.

*«Е. А. Энгельгардту.*

*Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и моё имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: «В Лицее не было неблагодарных».*

*Александр Пушкин».*

Запись в специальном альбоме директора. Строки вежливы, но довольно вымученны; многие воспитанники писали теплее:

*«Егор Антонович!*

*Пробегаю листки эти, вспомните и об Вольховском. Поверьте ему, что он всей душой предан вам и семейству вашему, что он чувствует, сколько вам обязан, и потому сердечно любит и почитает вас и всегда будет почитать и любить».*

*«Вступил, узнал и полюбил*

*Александр Бакунин».*

*«Егор Антонович!*

*Лучшую, может статья — счастливейшую часть моей жизни провёл я в Лицее, и находясь под Вашим начальством уверился, что повиновение и должность могут быть несравненно приятнее самой независимости. Теперь оставляю место моего воспитания, осыпанный вашими благодеяниями, и питаю сладкую для меня надежду, что Вы не усомнитесь в вечной непритворной к вам благодарности*

*Дмитрия Маслова».*

Пушин, очень любивший последнего директора, размышлял о его отношениях с поэтом. Однажды Энгельгардт выручил Пушкина, заступившись за него пред царём (лицеист принял во мраке престарелую фрейлину за её хорошенькую горничную и наградил почтенную даму поцелуем, а та пожаловалась царю).



*«Государь на другой день приходит к Энгельгардту, — вспоминал Пушкин. — «Что же это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио...), но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей».*

*Энгельгардт, своим путём, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича (П. М. Волконский, министр двора, брат фрейлины), который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашёлся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии: приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчёт письма.*

*На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря», — шепнул император, улыбаясь Энгельгардту. Пожал ему руку и пошёл догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.*

*Таким образом дело кончилось необыкновенно хорошо».*

*Впрочем, говорили, что это происшествие ускорило выпуск первых лицеистов: царь нашёл, что хватит им учиться...*

*«Мы все, — продолжает Пушкин, — были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, со своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично; он никак не признавал этого, всё уверял меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось неразрешённой загадкой, почему всё внимание директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая сближения с ним. Эта*

*несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой любил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать, — наконец я перестал и настаивать, предоставляя всё времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве».*

Другие свидетельства подтверждают, что новый директор и первый поэт друг друга невзлюбили.



Пушкин уклонялся от вечеров в директорском доме, куда охотно ходят Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин. Однажды, по лицейскому преданию, Энгельгардт вызвал Пушкина на откровенность — за что он сердится, почему не любит своего директора? Пушкин отвечал, что *«сердиться не смеет, не имеет к тому причин»*; в конце концов он был растроган дружелюбием Энгельгардта — и они оба расстались, довольные друг другом. Однако случилось так, что Егор Антонович очень скоро воротился, чтобы сказать Пушкину ещё несколько слов, и заметил, что поэт поспешно спрятал какую-то бумагу. Директор протянул руку — *«от друга таиться не следует»* — и взял листок, где нашёл ка-

рикатуру на себя и злую эпиграмму. Отсюда будто бы и холодность... Отсюда, возможно, и официальный отзыв Энгельгардта о своём ученике:

*Высшая и конечная цель Пушкина — блеснуть, и именно поэзией; но едва ли найдёт она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьёзного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум. Это ещё самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нём нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда ещё не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нём воображением, осквернённым всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в Лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания».*

Егор Антонович был хорошим педагогом, но не каждый день ведь попадают такие непростые ученики, как Александр Пушкин.

Мы вовсе не собираемся восхищаться любым поступком гения. Вполне возможно, что сам Пушкин считал эпизод с карикатурой и эпиграммой постыдным, но всё же (если история была на самом деле) тут история не простая...

Что же делать этому мальчишке, если собственный дар так осложняет его жизнь? Если он не может не видеть сразу многих сторон всякого явления: например-и добрые, благородные качества директора; и то, что Егор Антонович хочет не только воспитывать, но и покровительствовать...

Вот другой пример: Пушкин, позже очень ценивший и хваливший труд поэта Гнедича, переведшего «Илиаду» на русский язык, «вдруг» написал на него злую эпиграмму и тут же, испугавшись, как бы она не получила известность, не обидела бы труженика, столь густо зачеркнул написанное, что учёные сумели прочесть эпиграмму лишь 80 лет спустя...

Нечто сходное было, возможно, и в истории с карикатурой на Энгельгардта... И вольно же было директору — не совсем этичным способом завладеть чужим листком!..

Не один Энгельгардт — иные товарищи тоже будут позже писать о Пушкине нехорошо: Корф, признавая в нём *«дивный талант»*, будет, например, настаивать, что поэт был *«вспыльчив до бешенства»*, что *«ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего любезного и привлекательного в своём обращении. Беседы — ровной, систематической, сколько-нибудь связанной — у него совсем не было, как не было и дара слова, были только вспышки: резкая острова, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но всё это лишь урывками, иногда, в добрую минуту; большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание»*.

Вяземский, однако, защитит память умершего поэта от Корфовой атаки и ответит прямо на только что приведённые строки:

*«Был он вспыльчив, легко раздражён — это правда; но со всем тем, он, напротив, в общем обращении своём, когда самолюбие его не было задето, был особенно любезен и привлекателен, что и доказывается многочисленными приятелями его. Беседы систематической, может быть, и не было, но всё прочее, сказанное о разговоре его, — несправедливо и преувеличено. Во всяком случае не было тривиальных общих мест; ум его вообще был здоровый и светлый»*.

Однако вернёмся к истории отношений с последним директором.

Энгельгардт, не понимая главного в Пушкине, был вообще человек положительный, благородный. Пущин помнил, как *«с лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные были против). Царь на это сказал: «В таком случае надо бы познакомить их с фронтом»*. Директор испугался и объявил императору, что оставит Лицей, *«если в нём будет ружьё»*. К этой просьбе он прибавил, что никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик: *«Долго они торговались; наконец, государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук»*.

Вскоре число лицейских педагогов пополнилось инженерным полковником Эльснером, — обучать артиллерии, фортификации и тактике.

*«Было ещё другого рода нападение на нас около того же времени, — продолжает Пущин, чьи воспоминания — истинный клад для истории Лицея. — Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего её пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видал камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы.*

*Между нами мнения насчёт этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности, но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где, на лошадях запасного эскадрона, учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашова, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнём учиться ездить?».*

И ещё хорошие пущинские слова о новом директоре:

*«При Энгельгардте... по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом... директор делал с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, за прудом, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому прида-*

*вало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении».*

Как видим, лицейская жизнь стала свободнее. Те строгости, запрещения, почти казарменная обстановка, в которой мальчики жили довольно долгое время, теперь уменьшаются. Энгельгардт хочет не отделять, но соединять воспитанников с живой жизнью. Лицеистам можно отправляться в гости в пределах Царского Села. И они ходят в дом к оригинальному, образованному человеку, музыканту, преподававшему у них музыку и пение, — Тепперу де Фергюссону. Ходят и в кондитерские, навещают гусаров, чей полк стоял в Царском Селе. Сначала для того, чтобы уйти в «увольнительную», просили специальный билет; потом ходили уже и без спросу.

*«Иногда, — вспомнит положительный Модест Корф, — возвращались в глубокую ночь. Думаю, что иные пропадали даже и на целую ночь, хотя со мною лично этого не случилось. Маленький трингельд швейцару мирил всё дело, потому что гувернёры и дядьки все давно уже спали... Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, состоял из офицеров лейб-гусарского полка».*

События, события у Пушкина! Знакомство с Батюшковым, начало дружбы с Плетнёвым, посещения Карамзина, поселяющегося в Царском Селе, интерес, внимание юноши к его речам, трудам, более всего к «Истории государства Российского»!

Споры семнадцатилетнего ученика с пятидесятилетним писателем-историком о русской старине, словесности, и бешеные шалости вместе с его малолетними детьми, и доверительная дружба с женой Карамзина, переходящая в более нежное чувство: всё это начинается именно здесь, в Лицее, но будет очень важно для Пушкина и в годы южных странствий, и в михайловском заточении, и после...

Карамзина посещает император и не один раз встречается у него в доме или у дверей с кудрявым лицеистом, которого пока не помнит, но вскоре не забудет...

*Довольно битвы мчался гром,  
Тупился меч окровавленный,  
И смерть погибельным крылом  
Шумела, грозно над вселенной...*

Так начиналось первое и единственное в жизни Пушкина стихотворение, написанное по заказу двора. Старого поэта екатерининских и павловских времён Юрия Нелединского-Мелецкого попросили восславить прибывшего в столицу принца Оранского, наследника нидерландского престола, недавно женившегося на сестре царя. Нелединский не чувствовал в себе должной поэтической силы и отправился за советом к Карамзину. Тот сразу предложил: «Пушкин».

Стихи были написаны за час или два и увезены на праздник в честь новобрачных, во время ужина их исполняет хор... Все довольны: императрица Мария Фёдоровна посылает в награду юному сочинителю золотые часы с цепочкой. Честь и слава, карьера!

В тот же день автор стихов *«нарочно о каблук»* разбивает те часы, — что ему сама царица!

При встрече с лицеистами царь вдруг спрашивает, кто у них первый? Пушкин отвечает: *«У нас нет, ваше императорское величество, первых — все вторые»*.

Царь хотел бы «первого» приблизить, наградить, — на зависть остальным. Но ему в самой вежливой форме (ведь только царь Александр — **первый**) отказано. «Все вторые», — ответил первый поэт. Не хочет приближаться.

Однажды у Карамзина юный *Сверчок* встречается с молодым офицером Петром Яковлевичем Чаадаевым, прошедшим в восемнадцати-двадцатилетнем возрасте с боями от Москвы до Парижа. С Чаадаевым тогда же — серьёзные беседы, начало дружбы.

*Он вышиной волею небес  
Рождён в оковах службы царской;  
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,  
А здесь он-офицер гусарский.*

С другими офицерами лейб-гвардии гусарского полка — весёлые проказы. Каверин, Молоствов, Соломирский, Сабуров, Зубов — каждому из этих отчаянных гусаров, ничего о том не подозревающих, их юный приятель уже обеспечивает бессмертие: несколько строк Молостovu; экспромт «Сабуров, ты оклеветал...». Позже Онегин

*К Talon помчался: он уверен,*

*Что там уж ждёт его Каверин...*

Легенд, смешанных с былью, о гусарских похождениях юного Пушкина сохранилось немало; рассказывали, например, будто на одном кутеже Пушкин держал пари, что выпьет бутылку рому и не потеряет сознания. Пари выигрывается, потому что, выпив бутылку, Пушкин хоть ничего и не сознаёт, но сгибает и разгибает мизинец.

В этих рассказах не хватает только двух, но очень важных вещей. Во-первых, те гусары соединяли *«безумное веселье»* со взглядом на жизнь вольным, полным достоинства — и это приведёт многих из них прямо в декабристские тайные союзы или в близкий круг сочувствующих...

Второе обстоятельство, которое надо здесь вспомнить, — всё растущее стремление Пушкина вырваться на свободу, избавиться от мелочной, нудной опеки. Он даже попросился у отца в гусары, но (Сергей Львович разрешит *«по здоровью»* только в *«гвардейскую пехоту»*)... Пройдёт немного времени — и будет жаль Лицея, и никогда не уйдут чудесные царскосельские воспоминания... Но пока какое счастье заболеть или удрать к гусарам; или вдруг, к рождеству, редкая удача: отпуск к родителям в Петербург (и ещё 16 лицейских также впервые отпущены к родственникам); каникулы, во время которых каждый день можно видеться с Жуковским:

*«Милостивый государь! Мы возвращаем Вам Вольтера, девицу Орлеанскую, моего отца и мою мать и т. д. — всего*

\_\_\_\_\_ 4  
\_\_\_\_\_ 3

Итого 7

*И сверх того, г-н Кюхельбекер посылает Вам 4 тома «Амфиона». — Очень благодарен от себя. Мой милый господин Жуковский, надеюсь, что завтра я буду иметь удовольствие видеться с Вами; покорнейше просим Задига, Тристама и др. отобедать у нас сегодня, если возможно».*

«Девушка Орлеанская», «Орлеанская девственница» — антицерковная сатирическая поэма Вольтера. «Амфион» — название журнала. Дальше Пушкин, вероятно, просит Жуковского о



присылке книг: «Задиг» — философская повесть Вольтера, «Тристам Шенди» — роман Л. Стерна.

За рождественские недели, однако, вдруг захотелось и обратно, к своим лицейским: грустно думать о скорой разлуке —

*Опять я ваш, о юные друзья!  
Туманные сокрылись дни разлуки:  
И брату вновь простёрлись ваши руки,  
Ваш резвый круг увидел снова я.  
Всё те же вы, но сердце уж не то же:  
Уже не вы ему всего дороже.  
Уж я не тот... Невидимой стезёй  
Ушла пора весёлости беспечной  
Ушла навек, и жизни скоротечной  
Луч утренний бледнеет надо мной.  
О дружество! предай меня забвенью:  
В безмолвии покорствую судьбам,  
Оставь меня сердечному мученью,  
Оставь меня пустыням и слезам.*

Поэт, размышляющий о своём назначении, теперь ищет и, конечно, находит в самом Лицее материал для творчества; кое-что записывает, стараясь сохранить поэтические и жизненные впечатления.

*«Вчера не тушили свечек; зато пели куплеты на голос:  
«Бери себе повесу». Запишу, сколько могу упомянуть.*

*На Кайданова  
Потише, животины!  
Да долго ль, говорю?  
Потише — Борнгольм, Борнгольм  
Ещё раз повторяю.  
На Карцева  
Какие ж вы ленивцы!  
Ну, на кого напасть?  
Да нуте-ка, Вольховский,  
Вы ересь понесли.  
А что читает Пушкин?  
Подайте-ка сюды!  
Ступай из класса с богом,*

*Назад не приходи...*

На Гакена \*

*Мольшадь! я сам фидала,*

*Мольшадь! я гуфнер!*

*Мольшадь! — ты сам софрала —*

*Пошалуясь теперь.*

На Левашова \*\*

*Bonjour, messieurs — потише!*

*Поводьем не играй!*

*Уж я тебя потешу.*

*A quand l'equatation \*\*\*.*

На Вильгельма

*Лишь для безумцев, Зульма \*\*\*\*,*

*Вино запрещено.*

*А Вильмушке, поэту,*

*Стихи писать грешно.*

Или:

*А не даны поэту*

*Ни гений, ни вино.*

\* Фридрих Август Гакен — один из гувернёров, бывший морской офицер.

\*\* Генерал Василий Васильевич Левашов — уже упоминавшийся наставник лицеистов в верховой езде, командир лейб-гвардии гусарского полка, расквартированного в Царском Селе.

\*\*\* Когда же будем заниматься верховой ездой? (*франц.*).

\*\*\*\* Типичное условное поэтическое обращение.

Так кипело, бурлило молодое вино, та среда, что рождала гения; кудрявого школьника, студента, который в семнадцать лет писал уже такие стихи:

*Слыхали ль вы за рощей глас ночной*

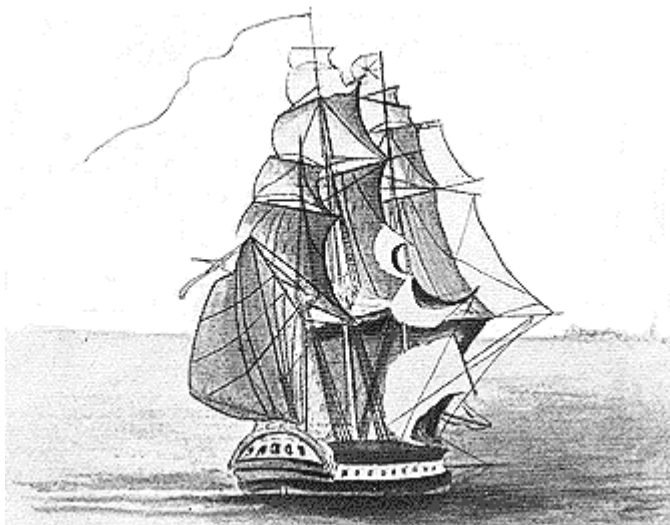
*Певца любви, певца своей печали?*

*Когда поля в час утренний молчали,*

*Свирели звук унылый и простой*

*Слыхали ль вы?*

«Дух лицейских трубадуров» — так назывался один из сборников лучших лицейских стихотворений...



## ***XX. ЛИЦЕЙСКИЕ, ЕРМОЛОВЦЫ, ПОЭТЫ***

*Припомните, о друга, с той поры,  
Когда наш круг судьбы соединили,  
Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущённые народы;  
И высились, и падали цари;  
И кровь людей то Славы, то Свободы,  
То Гордости багрила алтари.*

1836

Рядом, за царскосельскими дворцами, — в столице, в России, в Европе, в мире движется своими историческими путями XIX век, время Гёте, Стендаля, Бетховена, Байрона, Ризго; время Паганини, Боливара, Гегеля, Сен-Симона...

После великого взрыва 1789-1794-го в крови и пламени поднялась наполеоновская держава; затем — 1812-й, взятие Парижа; через два месяца после «державинского экзамена» мир сотрясает отчаянная попытка Наполеона вернуться: «сто дней», Ватерлоо, ссылка на Святую Елену...

Однако победные фанфары заглушаются в России грохотом барабанов. Аракчеевские военные поселения сколачиваются

всего в нескольких десятках вёрст от столицы, а к Лицею — даже ближе. «Священный союз», объединяющий десятки монархов и возглавляемый русским императором, выковывает цепи для всей Европы.

*Лицейские, ермоловцы, поэты,  
Товарищи — вас подлинно ли нет?*

Престарелый, почти слепой Кюхля напишет эти строки за Байкалом, через семь лет после гибели Пушкина. В трёх наименованиях схвачен дух, смысл целого поколения.

Юные лицеисты, вольные поэты, усатые, удалые, горластые гусары-«ермоловцы» Денис Давыдов, Лунин; вчера — под Бородиным, завтра, может быть, в тайном обществе.

*Лицейские, ермоловцы, поэты...*

Часто удивляются, откуда вдруг, «сразу» родилась великая русская литература? Почти у всех её классиков, как заметил писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать, родившая первенца — Пушкина в 1799-м, младшего — Льва Толстого в 1828-м (и между ними Тютчев — 1803, Гоголь — 1809, Белинский — 1811, Герцен и Гончаров — 1812, Лермонтов — 1814, Тургенев — 1818, Достоевский и Некрасов — 1821, Щедрин — 1826).

Как могло это произойти?

Не претендуя на полный ответ, с уважением относясь к выводам историков и литературоведов об особенностях той эпохи, породившей столько гениев, взглянем пристальнее на одну из причин, которая кажется очень существенной.

Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться читатель.

Мальчики, *«которые, пусться в пятнадцать лет на волю...»* — в походы, битвы, биваки, — они и были теми, кому нужны настоящие книги. Они, *«по детскости своей»*, ещё не нашли ответов на важнейшие вопросы и задавали их; а по взрослости — думали сильно, вопросы задавали настоящие и книжки искали не для отдохновения и щекотания нервов.

...9 февраля 1816 года. В Лицее — обычные уроки, и нелюбезный Кошанский, выздоровев, снова обучает своих питомцев литературе; а Пушкин не торопится выйти из лазарета (*«опухоль шейных желёз»*), и в Москве через три дня появятся в журнале его стихи под названием «Измена» («Всё миновалось»), затей-

ливо замаскированные 1... 17-14, что означает, по расположению букв в тогдaшнем, несколько отличающемся от сегодняшнего алфавите: А. П-Н.

В этот день в Петербурге, в семёновских казармах, четверо родственников, Муравьёвых и Муравьёвых-Апостолов вместе с Сергеем Трубецким и Иваном Якушкиным основали первое декабристское тайное общество — Союз спасения.

Началось декабристское десятилетие...

Здесь, в Лицее, в комнатах 13, 14 и соседних, ещё не знают, но, может быть, предчувствуют...

*Любви, надежды, тихой славы*

*Недолго нежил нас обман,*

*Исчезли юные забавы,*

*Как сон, как утренний туман;*

*Но в нас горит ещё желанье,*

*Под гнётом власти роковой*

*Нетерпеливою душой*

*Отчизны внемлем призыванью...*

С детства знакомые строки: но в них ведь запечатлены лицейские и более поздние воспоминания — было время, когда «нежил обман», когда «юные забавы» ещё затемняли или затуманивали истинное положение дел, состояние отечества... Но высокие чувства, желание высоких дел было у мальчиков и прежде, в том «утреннем тумане»; только — ещё не поняли, куда идти, на какой алтарь жертвовать. И вот наступает пробуждение, которое, впрочем, не убивает наивных высоких идеалов.

*Но в нас горит ещё желанье...*

Для некоторых новая пора наступит за несколько месяцев до последнего лицейского дня.

Пушин:

*«Ещё в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьёвы (Александр и Михайло), Бурцев, Павел Колошин и Семёнов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нём. Бурцов, которому я больше высказывался, нашёл, что по*

*мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского... Бурцов тотчас же узнал его, понял и оценил».*

«Священная артель» — так называлась организация, куда вступил Пущин. Названием сказано многое: священное дело, священная клятва, возвышенный взгляд на вещи: всему этому уже немало научились в лицейском окружении, в «лицейской артели» — теперь, однако, уже не шутки, уже не детство... Пройдёт девять лет, и следователи устроят очную ставку двух арестованных декабристов — Пущина и Бурцева, но Пущин решительно откажется вспомнить, кто же его принял в тайный союз. И, конечно же, «забудет» имена принятых вместе с ним — например, Вольховского.



Подобно древнему спартанцу или римлянину, первый ученик постоянно стремился к совершенству. Товарищи посмеива-

лись над его отличными оценками, но делали это любовно, добродушно:

*Суворов наш  
Ура! марш, марш  
Кричит верхом на стуле...*

Поставив в укромном месте стул, Вольховский тренировал кавалерийскую посадку (наблюдая издали приёмы гусарского полка) — и одновременно учил уроки. Он пришёл в Лицей слабосильным, поэтому много занимается гимнастикой и обычно, выполняя устные задания, носит на плечах два тяжелейших словаря.

У него плохая дикция, и, подобно Демосфену, он тренируется, набравши в рот камней...

Вольховский не написал воспоминаний и был «сдержан в речах». Можем только догадываться, что, услышав о «зле существующего порядка и возможности изменения», он столь же твёрдо готов взяться за доброе дело, как за трудное упражнение...

Всего же в декабристских следственных делах будет мелькать не менее семи лицейских имён. Но это будет после — в «другую эпоху»...

## ***XXI. РАЗЛУКА У ПОРОГА***

*Промчались годы заточенья;  
Недолго, мирные друзья,  
Нам видеть кров уединенья  
И царскосельские поля.  
Разлука ждёт нас у порога,  
Зовёт нас дальний света шум,  
И каждый смотрит на дорогу  
С волненьем гордых, юных дум.*

Май 1817 года. «Санкт-Петербургские ведомости» приглашают «публику и родителей» на выпускные экзамены Царскосельского лицея.

17 дней, 15 экзаменов...

Каждый день, с 8 до 12 часов утра и с 4 до 8 вечера.

15 мая — латинский язык.

16-го — закон божий; на обоих экзаменах присутствует министр и другие важные лица.

17-го — российская словесность. Пушкин читает специально сочинённое для экзамена стихотворение «Безверие».

18 мая — немецкая словесность.

19-го — французская словесность.

21-го — иностранная география и статистика.

22-го — всеобщая история «с особенным вниманием к трём последним векам». Среди гостей на экзамене — Карамзин и Вяземский.

23 мая — политэкономия и финансы.

24-го — естественное, частное и публичное право.

25-го — уголовное и гражданское право.

26-го — отечественная география и статистика. (У Пушкина же день рождения — восемнадцатилетие! Его навещают Карамзин, Вяземский, Чаадаев и гусарский поручик Сабуров.)

28-го — чистая математика.

29-го — прикладная математика. 30-го — фортификация и артиллерия. (Снова заходили Карамзин и Вяземский.)

31-го-последний экзамен: физика.

Свобода!

Наступают дни прощания. Дельвигу, собрату по музе и судьбе, — первое прости. Разумеется, потом, после выхода из Лицея, многие будут видаться, переписываться; поэтому прощальное слово относится более всего к общему прошлому. Впрочем, кто знает — что готовит судьба «рукой железной»?

Один поэт желает поэтических радостей другому и делает вид, будто сам сможет от них избавиться...

*В бездействии счастливом*

*Забуду милых муз, мучительниц моих;*

*Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,*

*Внимая звуку струн твоих.*

Второе прощание — с князем, Франтом:

*Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.*

*В последний раз, быть может, я с тобой,*

*Задумчиво внимая шум дубравный,*

*Над озером иду рука с рукой...*



Пушкин и Горчаков — ещё близкие, родные, но поэт предчувствует то, о чём позже скажет: *«Вступая в жизнь, мы рано разошлись...»* Впрочем, Пушкин уже предвидит и блеск, восхождение будущего дипломата, любимца дев:

*Они пришли, твои золотые годы,  
Огня любви прелестная пора.  
Спеши любить и, счастливый вчера,  
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;  
Амур велит — и завтра, если можно,  
Вновь миртами красавицу венчай...  
О скольких слёз, предвижу, ты виновник!  
Измены друг и ветреный любовник,  
Будь верен всем — пленяйся и пленяй...*

Разговор с другом, конечно, повод для печали о себе. О чём печалиться? И можно ли верить грустным строкам — *«Твоя заря — заря весны прекрасной, Моя ж, мой друг, осенняя заря...»*?

Можно и нужно верить. Нет никакого противоречия между грустью и радостью, буйным весельем. Всякая перемена, поэт знает, и прекрасна (*«Всё благо...»*) и печальна (*«что было — не вернётся...»*).

У Пушкина обострённое, усиленное гениальностью ощущение проходящего времени: ему порой кажется, что истинно счастлив тот, кто не думает, *«не знает счастья»* — как они сами в прежние годы.

*Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.  
Две-три весны, младенцем, может быть,  
Я счастлив был, не понимая счастья;  
Они прошли, но можно ль их забыть?*

Француз, «номер четырнадцать», конечно, знает свой дар и может быть, немного боится его; к тому же этот дар делает будущею Александра Пушкина самым неясным: что же для мира, что для читателя означает Гений?

*Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — унижение.  
Нет, праведно богов определение!  
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?  
Нет! и в слезах сокрыто наслаждение,*

*И в жизни сей мне будет в утешенье  
Мой скромный дар и счастье друзей.*

Прощаются вчерашние соперники... В альбоме *Олосеньки*, Алексея Демьяновича Илличевского, Пушкин опять пускается в игру попеременно с серьезным:

*Мой друг! неславный я поэт,  
Хоть христианин православный.  
Душа бессмертна, слова нет,  
Моим стихам удел неравный —  
И песни музы своенравной,  
Забавы резвых, юных лет,  
Погибнут смертью забавной,  
И нас не тронет здешний свет!  
Ах! ведает мой добрый гений,  
Что предпочёл бы я скорей  
Бессмертию души моей  
Бессмертие своих творений.  
Не властны мы в судьбе своей,  
По крайней мере, нет сомненья,  
Сей плод небрежный вдохновенья,  
Без подписи, в твоих руках  
На скромных дружества листках  
Уйдёт от общего забвенья...  
Но пусть напрасен будет труд,  
Твоею дружбой оживлённый —  
Мои стихи пускай умрут —  
Глас сердца, чувства неизменны  
Наверно их переживут!*

Через девятнадцать лет, уже без лицейской улыбки, поэт скажет: «Нет, весь я не умру...»

Строки, написанные рукою Пушкина — вместе с альбомом Илличевского, — до сей поры не найдены... Но друзья вовремя смекнули: Матюшкин, Яковлев, Корф списали текст для себя, и стихи не пропадут никогда!

Разумеется, особое событие — разлука с Кюхлей:  
*Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,  
При мирных ли берегах родимого ручья,  
Святому братству верен я.*

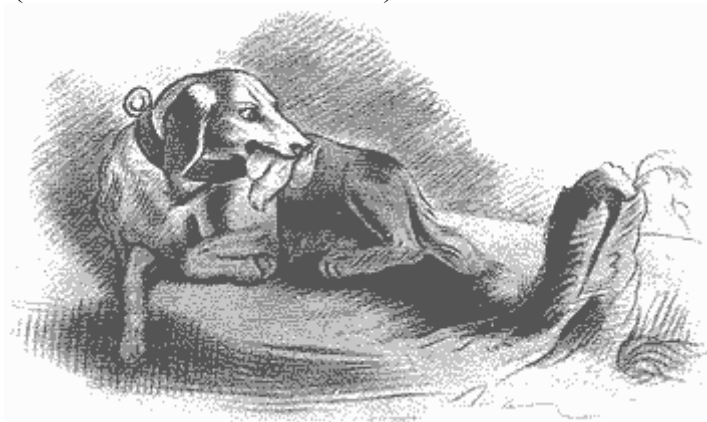
*И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),  
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!  
Самое же задушевное посвящение, без гадательных рас-  
суждений о судьбе, стихах — Большому Жанно:  
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,  
Исписанный когда-то мною,  
На время улети в лицейский уголок  
Всесильной, сладостной мечтою.  
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,  
Неволю мирную, шесть лет соединенья,  
Печали, радости, мечты души твоей,  
Размолвки дружества и сладость примиренья —  
Что было и не будет вновь...  
И с тихими тоски слезами  
Ты вспомни первую любовь.  
Мой друг, она прошла... но с первыми друзьями  
Не резвою мечтой союз твой заключён;  
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,  
О, милый, вечен он!*



Пред грозным временем, пред грозными судьбами: он многое предчувствовал, угадывал, как всё будет, восемнадцатилетний студент, хотя не мог знать, что в эту минуту хорошо слышит и видит грядущее — ещё не начавшиеся 1820-е и 1830-е годы.

Прощаются все со всеми.

Пушкин рисует Мартынову на память собаку с птичкой в зубах (что-то понятное им обоим).



Кюхля — Матюшкину:

*Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:  
Чёлн окрылённый помчит счастье твоё по волнам!*

Дружба — её здесь не просто ценят, но, можно сказать, боготворят, ставят на первое место из первых, много выше карьеры, удачи, даже любви...

Как естественно для Пушкина начать важнейшие строки обращением «Мой друг»:

*Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы...*

А несколько лет спустя, в посвящении своей главной поэмы, объяснит, что писал,

*Не мысля гордый свет забавить,  
Вниманье дружбы возлюбя...*

Безоблачной дружбы, правда, не существует — порою является и разочарование, звучат горькие упреки:

*Врагов имеет в мире всяк,*

*Но от друзей спаси нас, боже!*

*Уж эти мне друзья, друзья!*

*Об них недаром вспомнил я.*

Но это — фальшивые, неверные друзья, которым посыла-  
ется двойной упрёк за измену лучшему из чувств, — ведь —

*...я слышал, что божий свет*

*Единой дружбою прекрасен,*

*Что без неё отрады нет...*

Ведь тем, кого в цепях увезут за семь тысяч вёрст, будет  
написано:

*Любовь и дружество до вас*

*Дойдут сквозь мрачные затворы...*

Наконец, дорогой памяти поэта женщине отдано одно из  
самых печальных воспоминаний:

*Прими же, дальная подруга,*

*Прощанье сердца моего,*

*Как овдовевшая супруга,*

*Как друг, обнявший молча друга*

*Пред заточением его.*

Пушкин заменяет сначала «заточение» на «изгнание», но  
после решительно восстанавливает зачёркнутое. Так он сам при  
случайной встрече бросился на шею Кюхельбекеру, которого  
везли в крепость. Едва ли не единственный у Пушкина случай,  
когда воспоминание любви сравнивается с высшим проявлени-  
ем дружбы...

Так был сохранён на всю жизнь главный из лицейских  
уроков: дружба, дружество. То, о чём столь много толковали и  
писали в Царском Селе в летние дни 1817 года...

Меж тем в канцелярии изготовлены аттестаты, а в комнат-  
ках пишутся последние лицейские письма родным.

*«В течение шестилетнего курса обучался в сём заведении  
и оказал успехи: в законе божьем и священной истории, в логике  
и нравственной философии, в праве естественном, частном и  
публичном, в российском гражданском и уголовном праве хоро-  
шие; в латинской словесности, в государственной экономии и  
финансах весьма хорошие; в российской и французской словес-  
ности, также в фехтовании превосходные. Сверх того, зани-*

*мался историей, географией, статистикой, математикой и немецким языком».*

Это свидетельство выпускника Пушкина, по успехам — 26-го из 29.

Большая золотая медаль — Владимиру Вольховскому, вторая золотая — Александру Горчакову.

Говорили, будто Горчакову не дали первой медали, чтобы не подчёркивать предпочтения знатности. Честолюбивому князю важно окончить Лицей первым, но ещё более он радуется своему второму месту, так как Вольховскому «золото» нужнее: он небогат, без связей. Для такого честолюбия, как у Горчакова, очень часто лучшее место — второе, иногда даже последнее (но на пути к самому первому!).

Вольховского по его желанию зачисляют прапорщиком в гвардию. Горчакова — чиновником IX класса (титularным советником) в коллегию иностранных дел; его гражданский чин соответствует военному рангу Вольховского. Для восемнадцатилетних, никогда не служивших молодых людей, — недурное начало карьеры: низший класс в «табели о рангах» XIV; они же начинают на пять ступеней выше, точнее говоря, 17 человек получают IX класс: в первую очередь серебряные медалисты, а также (был такой термин): «имеющие право на серебряную медаль» — Маслов, Кюхельбекер, Ломоносов, Есаков, Корсаков, Корф, Саврасов. Ученики же послабее получают X класс («коллежского секретаря») или первый офицерский чин прапорщика, но не в гвардию, а в армию. Пушкин среди них, — так многие годы будет подписывать, — в официальных бумагах «10-го класса Пушкин»; только в конце жизни, получив низший придворный чин камер-юнкера, поэт продвинется на ранг выше также и по служебной лестнице. Погибнет — «9-го класса камер-юнкером Пушкиным».

Последние лицейские дни...

Всерьёз и в шутку обсуждаются служебные назначения (сегодня мы сказали бы «распределение»).

*Иной под кивер спрятав ум,*

*Уже в воинственном наряде*

*Гусарской саблею махнул —*

*В крещенской утренней прохладе*

*Красиво мёрзнет на параде,  
А греться едет в караул.*

Это предсказание военной службы, в которую идут многие, и сам поэт разве не просился в гусары?

Гвардейские прапорщики: Вольховский, Пущин, Есаков, Саврасов, Корнилов, Бакунин, Малиновский.

Армейские прапорщики — Данзас, Ржевский, Мясоедов, Тырков; Броглио же побудет в нижнем офицерском чине несколько дней, сразу «выйдет в отставку» и — на родину, в Сардинское королевство.

Наконец, Матюшкин вскоре превращается в офицера флота.

*Другой, рождённый быть вельможей,  
Не честь, а почести любя,  
У плута знатного в прихожей  
Покорным плутом зрит себя.*

Это щелчок в гражданских чиновников: их поболее — и многие, как Горчаков, Ломоносов, давно готовятся к серьёзной службе по дипломатической части, учатся писать депеши и т. п. Пойдут в иностранную коллегию ещё Корсаков, Кюхельбекер, Юдин, Гревениц и... сам Пушкин (он из них один — в X, другие — в IX классе). Лицейских ждут разные ведомства обширного аппарата Российской империи: кого государственная канцелярия (Маслов), кого юстиция (Корф, Яковлев), кого финансы (Илличевский, Дельвиг, Костенский); троим достанется департамент народного просвещения (Стевен, Комовский, Мартынов).

Ещё не поступивший на службу поэт признаётся:

*Лишь я, судьбе во всём послушный,  
Счастливой лени верный сын,  
Душой беспечный, равнодушный,  
Я тихо задремал один...  
Равны мне писари, уланы,  
Равны законы, кивера,  
Не рвусь я грудью в капитаны  
И не ползу в ассессора.*

Восемнадцатилетний гений ещё не решается громко произнести главное: что он поэт, поэтом и будет — и в этом смысл

его бытия. В ту пору не понимали, как можно быть «просто поэтом». На могильной плите Державина написано, что здесь покойся «действительный тайный советник и многих российских орденов кавалер».

Каждому грамотному пристало быть поручиком, асессором, советником, генералом, камер-юнкером...

Герой «Египетских ночей», талантливый поэт Чарский — в нём видны некоторые пушкинские автобиографические черты, — не любил, когда его называли стихотворцем:

*«...Употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых... Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одарённый, впрочем, талантом и душою...*

*Однако же он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своём кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».*

Между тем через восемь лет после окончания Лицея в письме к близкому другу Пушкин позволит себе чрезвычайно важную и невероятно для него откровенную фразу: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

Тогда же он заметит: «История народа принадлежит поэту».

За несколько месяцев до гибели уверенно скажет о том, что «...не зарастёт народная тропа...».

Всё это ощущалось, предчувствовалось в июне 1817 года — оставалось только прожить жизнь, написать тысячи гениальных строк...

По рассказу Пущина и другим источникам мы можем представить последний лицейский день. 9 июня 1817 года был акт, церемония выпуска двадцати девяти первых лицейских воспитанников. Та же зала, где шесть без малого лет назад происходило торжественное открытие нового заведения. Однако 19



октября 1811 года было многолюдным, пышным, а 9 июня 1817 года — сравнительно тихим и скромным. Наверное, это объясняется прежде всего большими историческими, политическими переменами, случившимися в течение 2060 «лицейских дней». Тогда, в 1811-м, ещё не выветрились либеральные надежды; царь ещё гордился или, по крайней мере, делал вид, что гордится успехами российского просвещения. Теперь же высочайшее настроение сильно ухудшилось, аракчеевская боязнь вольнодумства возросла, и к Лицею — явное охлаждение, а впереди, через пять лет, предстоит, по сути, разгром этого заведения... Нет, разумеется, совсем его не собираются закрывать — и первые выпускники получают свои льготы, свои места, и Александр I придёт на заключительный акт, но в сопровождении одного министра народного просвещения (не разрешит присутствовать даже своему обычному спутнику министру двора Петру Волконскому).

Всё будет скромно, спокойно — но лицеистам как раз это и понравится, запомнится...

Энгельгардт и Куницын «подведут итоги» лицейского шестилетия; затем вызовут каждого «по старшинству выпуска», то есть в порядке успехов, объявляя чин и награду, представляя царю. Двадцать девять раз царь улыбнётся молодому выпускнику; на двадцать шестой раз — Александру Пушкину...

Затем Александр I благодарит педагогов, наставляет учеников и удаляется. Лицейский хор поёт прощальную песнь — слова Дельвига, музыка учителя пения Теппера де Фергюссона: «Шесть лет промчались, как мечтанье...» Потом директор надевает им на пальцы чугунные кольца — символ крепкой дружбы — и они станут «чугунники».

Наконец, прощальная лицейская клятва: *«и последний лицеист один будет праздновать 19 октября...»*

*«В тот день, — вспоминает Пуцин, — после обеда, начали разъезжаться; прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург»*

## XXII. НА ШУМ ПИРОВ И БУЙНЫХ СПОРОВ

И я, в закон себе вменя  
Страстей единый произвол,  
С толпою чувства разделяя,  
Я Музу резвую привёл  
На шум пиров и буйных споров,  
И к ним в безумные пиры  
Она несла свои дары  
И как Вакханочка резвилась,  
За чашей пела для гостей,  
И молодёжь минувших дней  
За нею буйно волочилась,  
А я гордился меж друзей  
Подругой ветреной моей.

В четырнадцать онегинских строках — рассказ о целом периоде жизни между Лицеем и ссылкой: 1817 — 1820. Лицейские строки и воспоминания в ту пору не часты, прошедшее ещё не так далеко, к тому же и с товарищами разлука относительная.

Вольховский, выполняя военно-дипломатическое задание, на верблюдах путешествует в Бухару.

Энгельгардт, встретившись весенним днём 1818 года с Горчаковым, Малиновским и Ломоносовым, вечером получает конверт от Матюшкина «из Рио-Янейро». *«Думаю я, — замечает он, — что после потопа это первое письмо, которое из Бразилии в Царское Село писано».* От директора же в дальние моря пошёл ответ, извещавший: *«Военные наши (т.е. лицеисты, попавшие на военную службу. ) после пятимесячного фрунтового курса, наконец, попали в офицеры, а бедный Ржевский и до этого не дожил, он умер от гнилой нервической горячки. Гроб его понесли 6 из наших бывших его товарищей».*

Итак, их уже осталось двадцать восемь.

19 октября 1817-го, на первый лицейский праздник после конца учения, в Царское Село отправляется славная компания: Пушкин, Кюхельбекер, Малиновский, Вольховский, Корсаков, Илличевский...

19 октября 1818-го — празднование лицейской годовщины у Пушина, у которого собралось 14 человек: *«Пели лицейские*

песни», «Снова возвратились в доброе старое время» — так Корсаков писал Горчакову.

Вскоре «кудрявый певец» Корсаков уезжает к месту службы — во Флоренцию, чтобы не вернуться...

Иван Пущин в «Записках» продолжает рассказ о своём участии в тайном обществе уже после окончания Лицея.

*«Первая моя мысль была — открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем, по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной моей к нему дружбе, я, может быть, увлёк бы его с собою. Впоследствии когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежащую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу».*

Между 13-ым и 14-ым отношения усложняются.

Пушкин... Не было живого человека, свидетельствует первый друг поэта, который не знал бы его стихов:

*Тираны мира! трепещите!*

*Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный...*

*И на обломках самовластья*

*Напишут наши имена...*

Эти и десятки других горячих строк — «Вольность», «Деревня», «Послание Чаадаеву» — были для многих молодых людей учебником декабризма. Пущин, преклонявшийся перед поэтом, спорит с Пушкиным-человеком. Но даже маленькие недомолвки при столь близких отношениях всегда чувствительны обоим.

*«Преследуемый мыслью, что я неверен...»* — так начал писать Пущин и решительно зачеркнул: он всегда был верен. *«Преследуемый мыслью, что я у меня есть тайна от Пушкина...»*

Несколько раз «13-ый» чуть-чуть не открылся «14-му»...

*«Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Николая Ивановича Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между*

прочим были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берёт меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошёл дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашёл сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно.

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменялся разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами?»

Даже мирный лицеист Маслов (уважительно прозванный «Карамзиным») вовлечён в вихрь декабризма, участвует (подозревая о том или нет — неважно) в легальных совещаниях нелегального союза...

А Пущин, перечисляя в своих воспоминаниях различные неосторожные поступки друга, замечает:

«Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своём быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла ещё пора кипучей его природе уgomониться. Как ни вертел я всё это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действо-

вать по личному шаткому воззрению без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза...

*Круг знакомства нашего был совершенно разный.*

*После этого мы как-то не часто виделись. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом манёвры и другие служебные занятия увлекли меня из Петербурга».*

Отметим верность и в то же время — известную односторонность, поверхностность суждений Пуштина: то, что он считает «*кружением в большом свете*», было ведь для Пушкина серьёзной литературной школой — участие в литературном обществе «Арзамас», знакомство с лучшими русскими литераторами. Поэт сам бросит упрёк одному из лицейских за удаление от своих:

*Питомец мод, большого света друг,  
Обычаев блестящий наблюдатель,  
Ты мне велишь оставить мирный круг,  
Где красоты беспечный обожатель,  
Я провожу незнаемый досуг...*

Это начало третьего «Послания к князю Горчакову», через два года после Лицея. Очевидно, в ту пору были встречи, разговоры, когда Горчаков поучал Пушкина («Ты мне велишь...»).

Пушкин же не слушается и, наоборот, зовёт собеседника назад, в прошлое, к лицейским выходкам и забавам:

*И признаюсь, мне во сто крат милее  
Младых повес счастливая семья...*

Повеса — это ведь прошлое Горчакова (пять лет назад его обозвали «*сиятельный повеса*»).

*...на миг оставь своих вельмож  
И тесный круг друзей моих умножь,  
О ты, харит, любовник своевольный.*

Пять лет назад Горчаков был «*мой друг*» («*Что должен я, скажи, сейчас желать от чиста сердца другу?*»), теперь же ещё неизвестно — он вне круга «*моих друзей*», ему только предлагается тот круг умножить. Амур, хариты ещё связывают их, но вельможи разделяют.

1819, декабря 12-го князь Александр Михайлович Горчаков пожалован в звание камер-юнкера — первый придворный чин.

Александра Сергеевича Пушкина пожалуют в камер-юнкеры *«1831 декабря 29-го»*, и он найдёт этот чин неподходящим, смешным для тридцатичетырёхлетнего поэта. Однако для Горчакова, на двадцать втором году жизни, камер-юнкерство настолько высокая ступень, что министр иностранных дел канцлер Нессельроде сперва воспротивился: *«Молодой человек уже метит на моё место»*. Ещё тридцать семь лет был канцлером Нессельроде, и сменит его именно Горчаков; однако в 18-ом юному князю, кажется, крепко пришлось нажать на министра через влиятельных ходатаев. Причём честолюбие вчерашнего лицеиста так разгорелось, что он кладёт в карман яд и, если ему откажут в месте — собирается умереть...

Пушкин прощается со вчерашним одноклассником:

*Мой милый друг, мы входим в новый свет,  
Но там удел назначен нам не равный,  
И розно наш оставим в жизни след...*

*«Круг знакомства нашего был совершенно розный»*, — грустно замечает и Пущин о Пушкине, но тут же как бы возражает сам себе: *«Всё это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге: большей частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига»*.

Теперь мы знаем, что и на самых идиллических лицейских свиданиях разговор легко и естественно переходил к темам, которые особенно близки и понятны Пушкину.

«У домоседа Дельвига», но как-то раз Пушкин делает надпись «К портрету Дельвига»:

*Сё самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,  
Что коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,  
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил-  
Нерон же без него правдиву смерть узрит.*

Нерон — злобный царь, деспот (вроде Павла I); Тит — просвещённый монарх, вроде Александра I. Мы, кажется, под-

слушали один из мирных разговоров у добродушного домоседа...

«Лицейский дух» — об этом крамольном, дерзком, непокорном духе несколько лет спустя подробно и со знанием дела осведомит правительство Фаддей Булгарин:

*«В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамиллярно с начальником... Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной весёлости... В Лицее едва несколько слушали курс политической науки, и те именно вышли не либералы, как, например, Корф и другие».*

Записка — донос Булгарина, поданная после восстания декабристов, метит в «либералов», то есть вольнодумцев — и в Пушкина, и в членов тайных обществ, и в «насмешливо-угрюмого» Горчакова (хоть он слушал «курс политической науки»).

Достоинство, сдержанность, ирония... Может быть, не так уж сильно они разошлись, вступая в жизнь?

### **XXIII. ДРУЗЬЯМ ИНЫМ ДУШОЙ ПРЕДАЛСЯ НЕЖНОЙ...**

*Друг Дельвиг, мой парнасский брат,  
Твоей я прозой был утешен,  
Но признаюсь, барон, я грешен:  
Стихам я больше был бы рад...*

Это строки из ответа на несохранившееся письмо Дельвига, отыскавшее Пушкина за две тысячи вёрст, в Кишинёве.

6 мая 1820 г. Дельвиг и Павел Яковлев, брат лицейского Паяса, провожают до первой станции уезжающего в южную ссылку поэта и друга: несколько лет им не видеться; только чудом и заступничеством друзей «пронесло» мимо отправку в Сибирь или в Соловецкий монастырь — за опасные стихи-эпиграммы. Как раз в эти дни Пущин после длительной командировки возвращается из южных краёв в Петербург:

*«Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и искал там проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя:*

*«Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр, зритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе (время было ужасно жаркое). Я тут ровно ничего не понимал — живя в Бессарабии, никаких вестей о наших лицейских не имел. Это меня озадачило...»*

В той необыкновенной, тревожной ситуации их встреча на какой-нибудь станции Белорусского тракта была бы важна и памятна обоим, но, увы, российская география развела на разные концы двухнедельного пути — и не видеться им ещё пять лет.

*«Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатинослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз ещё повидаться».*

*Из края в край преследуем грозой,  
Запутанный в сетях судьбы суровой,  
Я с трепетом на лоно дружбы новой,  
Устав, приник ласкающей главой...  
С мольбой моей печальной и мятежной,  
С доверчивой надеждой первых лет,  
Друзьям иным душой преданся нежной;  
Но горек был небратский их привет.*

И в этих нескольких строках мемуары о годах жизни и скитаний :Кишинёв, Одесса, Каменка.

*Но я отстал от их союза  
И вдаль бежал... Она за мной.  
Как часто ласковая муза  
Мне улаждала путь немой  
Волшебством тайного рассказа!  
Как часто по скалам Кавказа  
Она Ленорой, при луне,  
Со мной скакала на коне!  
Как часто по берегам Тавриды  
Она меня во мгле ночной  
Водила слушать шум морской,  
Немолчный шёпот Нереиды,  
Глубокий, вечный хор валов,*



*Хвалебный гимн отцу миров.  
И, позабыв столицы дальней  
И блеск и шумные пиры,  
В глуши Молдавии печальной  
Она смиренные шатры  
Племён бродящих посещала  
И между ними одичала,  
И позабыла речь богов  
Для скудных, странных языков,  
Для песен степи, ей любезной...*

Новые стихи и поэмы, расходящиеся строфы «Евгения Онегина».

Директор Лицея Энгельгардт — Горчакову (в Лондон):

*«Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства. Посылаю вам одну из его последних пьес, которая доставила мне безграничное удовольствие: «ней есть нечто вроде взгляда в себя. Дал бы бог, чтобы это не было только на кончике пера, а в глубине сердца. Когда я думаю, чем этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию...»*

Внимательный директор, так же как и некоторые друзья, видит только поверхность явлений — говорит о «разрушении» того здания, что поднимается с каждым днём. И как же трудно поэту жить, если даже свои, лицейские, не всегда понимают!

Здесь, на юге, вокруг Пушкина — декабристская стихия и в то же время — враги, клевета, злоба, предательство, преследование, доводящие поэта до иступления, до грани самоубийства... Наконец новая схватка с властями и новая ссылка, под надзор в Михайловское.

Между тем и на севере невесело, нелегко. В 1821-1822 годах, после доноса ретивых служак, приходит конец былым лицейским вольностям. Куницын, Галич и другие лучшие наставники уволены, уходит и Энгельгардт.

Переписка поэта с далёкими друзьями в эти годы редка, он чаще является им печатно («Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник») или рукописью («Кинжал», «Послание цензо-

ру», новые эпиграммы). Зато с удалением во времени и про-  
странстве всё острее становятся воспоминания,

*..Кюхельбекерно мне  
На чужой молдавской стороне.  
«После обеда во сне видел Кюхельбекера...»  
Муза странствует вместе с гонимым поэтом:  
Вдруг изменилось всё кругом,  
И вот она в саду моем  
Явилась барышней уездной,  
С печальной думаю в очах,  
С французской книжкой в руках.*

#### ***XXIV. ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО***

*Роняет лес багряный свой убор,  
Сребрит мороз увянувшее поле,  
Проглянет день как будто поневоле  
И скроется за край окружных гор.  
Пылай, камин, в моей пустынной келье;  
А ты, вино, осенней стужи друг,  
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,  
Минутное забвенье горьких мук.  
Печален я: со мною друга нет,  
С кем долгую запил бы я разлуку,  
Кому бы мог пожать от сердца руку  
И пожелать весёлых много лет.  
Я пью один; вотще воображенье  
Вокруг меня товарищей зовёт;  
Знакомое не слышно приближенье,  
И милого душа моя не ждёт.  
Я пью один, и на берегах Невы  
Меня друзья сегодня именуют...  
Но многие ль и там из вас пируют?  
Ещё кого не досчитались вы?  
Кто изменил пленительной привычке?  
Кого от вас увлёл холодный свет?  
Чей глас умолк на братской переключке?  
Кто не пришёл? Кого меж вами нет?*

Эти строки написаны, когда оставалось два месяца до 14 декабря. Позади более пяти лет ссылки; разумеется, 280 вёрст, разделяющих село Михайловское Псковской губернии и Петербург, — это не очень далеко, всего два-три дня дороги; но запрет, надзор, опала...

На берегах Невы в тот день, 19 октября 1825 года, действительно собирается несколько друзей, пьющих здоровье отсутствующих. Ещё в прошлом году некоторые лицеисты сошлись на квартире Миши Яковлева и решили по прошествии десяти лет после окончания (то есть 19 октября 1827 года) праздновать серебряную дружбу, а через двадцать лет — золотую. Золотая будет 19 октября 1837 года.

Ещё далеко до юбилеев, но есть уже лицейские, которые не придут никогда...

*Он не пришёл, кудрявый наш певец,  
С огнём в очах, с гитарой сладкогласной:  
Под миртами Италии прекрасной  
Он тихо спит, и дружеский резец  
Не начертал над русскою могилой  
Слов несколько на языке родном,  
Чтоб некогда нашёл привет унылый  
Сын севера, бродя в краю чужом.*

Редактор лицейских журналов, музыкант, весёлый и милый друг успел угаснуть от чахотки в прекрасной Флоренции. «За час до смерти, — рассказывал Энгельгардт, — он сочинил следующую надпись для своего памятника, и, когда ему сказали, что во Флоренции не сумеют вырезать русские буквы, он сам начертил её крупными буквами и велел скопировать её на камень:

*Прохожий, поспеши к стране родной своей!  
Ах! грустно умирать далёко от друзей».*

Пройдёт пятнадцать лет, и лицейский директор получит известие от лицеиста, находящегося на дипломатической службе в Италии. «Вчера, — запишет Энгельгардт, — я имел от Горчакова письмо и рисунок маленького памятника, который поставил он бедному нашему трубадуру Корсакову, под густым кипа-

*рисом близ церковной ограды во Флоренции. Этот печальный подарок меня очень обрадовал».*

Минёт полтора века, и советский журналист Николай Прожогин после длительных поисков обнаружит на старом итальянском) кладбище тот самый горчаковский памятник, с той самой, сочинённой самим Корсаковым эпитафией:

*Прохожий, поспеши к стране родной своей!*

*Ах! грустно умереть далёко от друзей.*

Горчаков переменил только одно слово: Корсакову было «*грустно умирать*», на памятнике — «*грустно умереть*»...

Впрочем, тогда, в 1825-м, даже друзья не ведали точно, «кого меж нами нет». В черновике «19 октября» поэт ещё мечтает как-нибудь усесться «по лицейскому порядку»:

*Спартанскою душой пленяя нас,*

*Воспитанный суровою Минервой,*

*Пускай опять Вольховский сядет первым,*

*Последним я, иль Брольо, иль Данзас.*

А Брольо, Броглио — скорее всего уже погиб (или вскоре погибнет), сражаясь за свободу Греции.

*Но многие не явятся меж нами...*

*Пускай, друзья, пустеет место их.*

*Они придут, конечно, над водами*

*Иль на холме под сенью лип густых...*

*«19 октября».*

Строки, не вошедшие в окончательный текст.

Но две строфы стихотворения посвящены тому из друзей, кто тем ближе — чем дальше...

*Сидишь ли ты в кругу своих друзей,*

*Чужих небес любовник беспокойный?*

*Иль снова ты проходишь тропик знойный*

*И вечный лёд полуночных морей?*

*Счастливый путь!.. С лицейского порога*

*Ты на корабль перешагнул шутя,*

*И с той поры в морях твоя дорога,*

*О, волн и бурь любимое дитя!*

*Ты сохранил в блуждающей судьбе*

*Прекрасных лет первоначальны нравы:*

*Лицейский шум, лицейские забавы*

*Средь бурных волн мечталися тебе;  
Ты простирал из-за моря нам руку,  
Ты нас одних в молодой душе носил  
И повторял: «На долгую разлуку  
Нас тайный рок, быть может, осудил!»*

Матюшкин — Федернелке, *Плыть хочется*. Пушкин когда-то начал его «Записки», то есть занёс в тетрадь несколько фраз, чтобы Федя продолжил. В письмах к друзьям и лицейскому директору Матюшкин помещает в виде эпиграфов градусы широты и долготы, под которыми в этот момент находится. Рождество 1825 года моряк встречает со своими, в Царском Селе, о чём михайловский узник узнаёт и рифмованно шутит в письме к брату Льву: *«Поздравляю тебя с рождеством господа нашего и прошу поторопить Дельвига. Пришли мне «Цветов» да «Эду» (поэма Баратынского), да поезжай к Энгельгардтову обеду. Кланяйся господину Жуковскому. Заезжай к Пущину и Малиновскому. Поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина»*.

*И ныне здесь, в забытой сей глуши,  
В обители пустынных вьюг и хлада,  
Мне сладкая готовилась отрада:  
Троих из вас, друзей моей души,  
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,  
О Пущин мой, ты первый посетил,  
Ты усладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его Лицея превратил.*

В 1825 году у Пушкина было два лицейских дня. Первый — 11 января: в этот день, около восьми утра, прорвавшись сквозь снега, леса, запреты, опасности, Иван Пущин в санях при громе колокольчиков «вломился» на нерасчищенный Михайловский двор:

*«Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакивая из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные*

*минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим!*

*Наконец, пробила слеза (она и теперь, — признавался старый Пущин, писавший воспоминания, — через тридцать три года, она и теперь мешает писать в очках) — мы очнулись».*

*А затем девятнадцать часов непрерывной беседы после более чем пятилетней разлуки; разговоры обо всём-о прошлом, будущем, политике, поэзии, любви, и конечно же «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсников Лицея, потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в Судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня!»*

Однако нам интересно было бы услышать объяснения самого Пущина, как он *«из артиллеристов преобразовался в Судьи»*, и мы, пусть не дословно, можем восстановить его ответ и представить реакцию собеседника. (Эта часть разговора выясняется прежде всего по рассказу Е. Якушкина, записанному за самим Иваном Ивановичем.)

Рассказ Пущина обязательно включал в себя следующие элементы:

**Столкновение с Михаилом Павловичем.** На выходе во дворце великий князь резко выговаривает Пущину, что у того *«не по форме был повязан темляк на сабле»*. Пущин тотчас подаёт в отставку (1823).

**Поиски новой службы.** Пущин демонстративно хочет занять должность квартального надзирателя, *«желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унижительной»*. Родные возмущены, сестра на коленях умоляет брата не делать глупостей. Пущин несколько уступает и переходит на должность, тоже немислимую для лицейца, гвардейского офицера и сына сенатора, но несколько более «солидную» — сначала в Петербургскую палату уголовного суда (где в то время служил и другой отставной офицер — Кондратий Рылеев!), а с весны 1824 года Пущин — московский надворный судья.

Поэту нравится, конечно, достоинство, сохранённое другом после стычки с великим князем. В его духе и такой общественный вызов, как переход в квартальные надзиратели,

надворные судьи: ведь всего за полгода до того Пушкин объяснил свою просьбу об отставке так:

*«О чём мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я у спел уже примириться... Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, ещё менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство... На этот счёт у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.*

*Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения, того или другого начальника, мне наскучило, что в моём отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарищиной.*

*Единственное, чего я жажду, это — независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь её. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я ещё пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. — Не могу понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, кто они — эти мои друзья)».*

Ужас некоторых близких по поводу литературной карьеры Пушкина — для поэта сродни тому ужасу, что испытывали друзья и родственники Пущина, узнав о переходе его на полицейскую или судебную должность.

*«Демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости».*

Пущин видит в новой службе место своей максимальной общественной полезности, Пушкин видит подобное же в своём литературном труде (и тут Пущин с ним абсолютно согласен!).

Поэт писал о своей чиновной карьере:

*«Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто моё ремесло, отрасль частной про-*

*мышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость».*

Пушкин не говорит в этом письме о своём общественном значении и т. п., — но через год напишет «Пророка».

Тут пора задуматься о смысле сана, избранного Пущиным. Мы-то спустя полтора века хорошо знаем, что скрытой задачей переезда в Москву виднейшего декабриста, члена Северной думы, Ивана Пущина было оживление деятельности тайного общества во второй столице, создание московской управы. К началу 1825 года вокруг Пущина уже имелась небольшая активная группа. Позже, в феврале, один из директоров тайного общества — Оболенский приедет из Петербурга утверждать московскую управу и Пущина как её председателя...

*Поэта дом опальный,  
О Пущин мой, ты первый посетил;  
Ты усладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его Лицея превратил.*

.....  
*Ты, освятив тобой избранный сан,  
Ему в очах общественного мнения  
Завоевал почтение граждан.*

Пущин цитирует эти стихи, вписанные в «Тетрадь заветных сокровищ», которую вёл на каторге, в ссылке и после амнистии.

*«Незаметно, — продолжает декабрист, — коснулись опять подозрений насчёт общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, всё это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его, мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть».*

Место, тысячекратно цитированное и всё же во многом загадочное.



«Коснулись опять» — то есть через пять-шесть лет после впервые высказанного поэтом подозрения, что друг секретничает. И сейчас Пушкин начал разговор или скорее всего бросил намёк, естественно вытекавший из обсуждения должности надворного судьи.

Пушин на этот раз уже не может отмолчаться, отшутиться, и логика беседы представляется следующей. Пушкин завёл разговор (намекнул, высказал подозрение) насчёт потаённой деятельности одного Пушина («гордился мною и за меня»). Пушин же отвечает — «не я один». Тут и оправдание прежнего молчания, и специфически пушинская сдержанность.

Следует бурная реакция Пушкина, который «вскочил», «вскрикнул» и только потом, «успокоившись, продолжал».

Фразы: Пушкина — «я не заставляю тебя, любезный Пушин, говорить...», Пушина — «молча, я крепко расцеловал его», «обоим нужно было вздохнуть» — эти слова передают предельно напряжённую ситуацию полупризнания: нельзя сказать, но нельзя и скрыть, и если бы только это! Члену тайного общества достаточно просто промолчать, загадочно улыбнуться, но «крепко расцеловал» — это любовь, бережность, сожаление, неотвратимость разных путей (пусть и не столь разных, как, например, у Пушкина и Горчакова, где, «вступая в жизнь, мы рано разошлись...»).

Впрочем, «острый пик» Михайловской беседы миновал. Разрядка. Друзья «обнялись и пошли ходить...».

*«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи... Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за неё. Незаметно полетела в потолок и другая пробка, попотчевали искромётным няню, а всех других — хозяйской наливкой. Всё домашнее население несколько развеселилось, кругом нас стало шумнее, праздновали наше свидание.*

*Я привёз Пушкину в подарок «Горе от ума», он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать её вслух, но опять жаль, что не припомню теперь метких его*

замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати...»

С политических высот воспоминание уходит к минутам весёлости, дружбы, озорства, радости, тостов.

В тот зимний день 11 января 1825 года двое молодых весёлых людей балагурят со швеями, а потом пьют за неё. Конечно, не за женщину, как думали некоторые исследователи, а за свободу: подчёркнутые Пушкиным слова обращены к определённым понятиям. *«Она», «за неё»* — были особенным «паролем» в речах Пушкина и близких к нему людей.

Известный общественный деятель, собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев запишет в своём дневнике (август 1857 г.) следующие слова о недавно умершем декабристе И. Д. Якушкине: *«Жаль его: в этом старике так много было юношеского, честного, благородного и прекрасного... Ещё помню, с каким одушевлением предлагал он тост за свою красавицу, то есть за русскую свободу, с какою верою повторял стихи Пушкина: «Товарищ, верь, взойдёт она, заря пленительного счастья...»*

И в Михайловском, и в сибирской ссылке, и после — стоило произнести *«за неё!»* — и всё было понятно: *«за неё!»* — это лицейская, декабристская, пушкинская «красавица-свобода». *«За неё!»* — значит, оба собеседника сошлись в общности идеалов, целей: **Свобода** (о средствах её завоевания и других подробностях речь не идёт).

Тост за свободу 11 января 1825 года, потом чтение запрещённого «Горя от ума» — это нормальная для той поры ситуация: одна из примет той широкой общественной волны, которую составляло всё мыслящее, передовое, живое, яркое тогдашней России...

Отметим ещё раз и естественную смену дружеского настроения: только что было напряжение, противоборство, — и вот снова единство, согласие, радость второго лицейского дня (пушкинское — *«ты в день его Лицея превратил...»*). Ситуация доброжелательства, свободы, раскованности. Внезапно, однако, вторгается грубая действительность — появляется святогорский

игумен Иона, наблюдению которого «поручен» Пушкин. С трудом спровадив незваного гостя, вернули вольную беседу.

*«Потом он мне прочёл кое-что своё, большей частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пизэс, продиктовал начало поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить его за патриотические «Думы»».*

Пушин наслаждается разнообразными Михайловскими плодами, и мы можем только угадывать, чем радовал его Александр Сергеевич.

*«Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы ещё чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьём, и пьём на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сени. Пушкин ещё что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной».*

*Ты, Горчаков, счастливцев с первых дней,  
Хвала тебе — фортуны блеск холодный  
Не изменил души твоей свободной:  
Всё тот же ты для чести и друзей,  
Нам разный путь судьбой назначен строгой;  
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;  
Но невзначай просёлочной дорогой  
Мы встретились и братски обнялись.*

Это как бы четвёртое послание Пушкина Горчакову. Кроме трёх, написанных в Лицее и после него; летом 1825-го, потрясая немало вёрст по псковскому бездорожью, Александр Горчаков прибывает к дядюшке Пещурову, в село Лямоново, что недалеко от Михайловского. Там он узнаёт немало подробностей о Пушкине, потому что дядюшка-губернский предводи-

тель дворянства и в его обязанности, между прочим, входит надзор за ссыльным и опальным...

Горчаков тут же даёт о себе знать в Михайловское, и сентябрьским днём 1825 года Пушкин отправляется в гости: шесть лет не виделись.

Если Пущина, когда он отправлялся из Москвы в Михайловское, пугали близкие к поэту люди — «не встречайтесь: Пушкин под надзором!...» — то Горчакова, наверное, и подавно. Князь, однако, знал, какими путями ходить не следует: карьера его волнует, но честь, но свобода души и поступков — важнее! По сохранившимся сведениям, встреча была не слишком лёгкой, и в этом непросто разобраться. Первое впечатление поэта: *«Мы встретились и расстались довольно холодно — по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох — впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гниём; первое всё-таки лучше. От нечего делать я прочёл ему несколько сцен из моей комедии»* («Бориса Годунова»).

Замечания Горчакова по поводу пушкинской комедии, очевидно, уязвили Пушкина. Всё кажется ясно, просто: встретились поэт — и умный, сухой карьерист. Но в эту схему вторгается прошлое: 19 октября... Правда, Горчаков ни разу на лицейских праздниках не бывал, да, видно, дело не в этом! При всех несогласиях есть нечто общее, очень важное, неподдающееся времени.

*Но невзначай просёлочной дорогой  
Мы встретились и братски обнялись...*

Горчаков попадает в пушкинский перечень *«друзей моей души»*, сумевших добраться и в ссыльную глухомань!.. Кроме Пущина и Горчакова, в том перечне — Дельвиг.

Между «пущинским» и «горчаковским» днём была ещё «Дельвигова неделя»:

*Когда постиг меня судьбины гнев,  
Для всех чуждой, как сирота бездомный,  
Под бурю главой поник я томной,  
И ждал тебя, вещун пермесских дев,  
И ты пришёл, сын лени вдохновенной,  
О Дельвиг мой: твой голос пробудил*

*Сердечный жар, так долго усыплённый,  
И бодро я судьбу благословил.  
С младенчества дух песен в нас горел,  
И дивное волнение мы познали;  
С младенчества две музы к нам летали,  
И сладок был их лаской наш удел:  
Но я любил уже рукоплесканья,  
Ты, гордый, пел для муз и для души;  
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,  
Ты гений свой воспитывал в тиши.*

Приезд Дельвига был чрезвычайно важен для Пушкина.

*«Как я рад баронову приезду. Он очень мил! Наши барыш-  
ни все в него влюбились — а он равнодушен как колода, любит  
лежать на постеле... Приказывает тебе кланяться, мысленно  
тебя целует 100 раз, желает тебе 100 хороших вещей (например,  
устриц)».* (Пушкин — брату Льву.)

Увы, об этой встрече не осталось таких воспоминаний, как о приезде Пущина.

Сохранились только стихи — как видно, не в худшую минуту писанные, которые Дельвиг оставил в толстом альбоме Осиповых-Вульф (рядом с весёлыми, нежными, пламенными строчками Пушкина, Языкова и других почитателей тригорского дома):

*И прежде нас много весёлых  
Полюбят и пить и любить,  
Не худо гулякам усопшим  
Веселья бокал посвятить.  
И после нас много весёлых  
Полюбят любовь и вино,  
И в честь нам напоят бокалы,  
Любившим и пившим давно.*

24 апреля 1825 года.

Приезжавшие друзья доставляют приветы от других друзей и обещания, к сожалению, не осуществившиеся, посетить изгнанника. Малиновский прислал живой привет с Пущиным, и в черновике «19 октября» находим:

*Что ж я тебя не встретил тут же с ним,  
Ты, наш казак и пылкий и незлобный,*

*Зачем и ты моей сени надгробной  
Не озарил присутствием своим?*

Хотят приехать, но не успеют декабристы Рылеев, Бестужев и всё более сближавшийся с ними Кюхельбекер...

*Служенье муз не терпит суеты;  
Прекрасное должно быть величаво:*

*Но юность нам советует лукаво,*

*И шумные нас радуют мечты...*

*Опомнимся — но поздно! и уныло*

*Глядим назад, следов не видя там.*

*Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,*

*Мой брат родной по музе, по судьбам?*

С Кюхлей Пушкин не виделся уже более шести лет — обоих мотало по миру: Вильгельм даже превзошёл товарища в причудливостях судьбы: Париж, Неаполь, Кавказ, карбонарии, дуэли, служба у знаменитого Ермолова, полицейский надзор, блестящие оригинальные статьи в журналах, стихи — странные, длинные, но с немалыми поэтическими достоинствами...

С того лицейского праздника, 19 октября 1825 года, Вильгельм рано уйдёт, как всегда куда-то торопится...

Так и не соберётся в Михайловское. Но ему и Пушкину всё-таки ещё суждено свидеться...

*Пора и мне... пируйте, о друзья!*

*Предчувствую отрадное свиданье;*

*Запомните ж поэта предсказанье:*

*Промчится год, и с вами снова я,*

*Исполнится завет моих мечтаний:*

*Промчится год, и я явлюся к вам!*

*О сколько слёз и сколько восклицаний,*

*И сколько чаш, подъятых к небесам!*

Предсказание сбудется и не сбудется... Всего год, но за этот год ударит 14 декабря, и на Сенатской площади, в строю восставших находятся два лицеиста — Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер. Позже будут заподозрены, но в конце концов оставлены на свободе Вольховский, Дельвиг, Бакунин, Корнилов. Сюда же прибавим и Броглио, который на подозрении сразу у нескольких европейских правительств — за связи с карбонариями, греческими революционерами...

Кюхельбекер пытается бежать. Несколько дней его разыскивают повсюду, объявляют в газетах; многие думают, что он погиб, может быть, исчез под разбитым картечью невским льдом? И Пушкин, думая, что Вильгельма уж нет на свете, один за другим рисует его профили на полях своих рукописей, — наверное, чтобы не забыть милых черт. Но вскоре узнаёт, что Кюхля схвачен в Варшаве и затем доставлен в Петропавловскую крепость.



К Пушкину же, дожидавшемуся неминуемого ареста, явился на другой день после восстания Горчаков. Князь, франт, карьерист, но чести не уронит, «душу свободную» не разменяет...

*«Горчаков привёз декабристу заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить на иностранный корабль, готовый к отплытию. Пушкин не согласился уехать: он считал постыдным избавиться бегством от той участи, которая ожидает других членов общества: действуя с ними вместе, он хотел разделить и их судьбу»* (записано за Иваном Пушным).

Горчаков достоин высшей лицейской дружбы! Если бы во время его посещения на квартиру Пушкина туда явились жандармы, дипломату пришлось бы плохо: арест, возможно, отставка, высылка из столиц. Но в состав горчаковского честолюбия,

как видно, входит самоуважение: если не за что себя уважать, то незачем и карьеру делать — а коли так, то нужно встретиться с Пушиным и предложить ему заграничный паспорт.

Есть основания думать, что и Энгельгардт встретился в тот день с *Большим Жанно* и забрал на хранение портфель с лицейскими рукописями... Пущин получит их после ссылки, 31 год спустя.

### ***XXV. СУДЬБА, СУДЬБА РУКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ...***

Пушкина же в сентябре 1826 года вдруг выпускают из ссылки, он возвращается в Москву, снова едет, уже вольный, в своё Михайловское близ Пскова, терпит дорожное крушение (опрокинут ямщиками), улыбается, лежит в гостиничном номере, вспоминает:

*Скажи, куда девались годы,  
Дни упований и свободы,  
Скажи, что наши, что друзья?  
Где ж эти липовые своды?  
Где Горчаков, где ты, где я?,  
Судьба, судьба рукой железной  
Разбила мирный наш Лицей...*

Черновые строки стихотворения, обращённого к Пущину, — «Мой первый друг, мой друг бесценный». Стихотворение было закончено в псковской гостинице, ровно через год (без одного дня) после восстания: 13 декабря 1826 года.

Прекрасные строки о «*наших*» и «*друзьях*», может быть, оттого исчезли в окончательном тексте послания, что в стихах, называющих государственного преступника первого разряда «*мой первый друг, мой друг бесценный*», не следует называть ещё чьи-либо имена...

В тот день Пущин был недалеко, всего триста с небольшим вёрст — в Шлиссельбургской крепости, откуда только следующей осенью его повезут на восток, за семь тысяч вёрст.

«В самый день моего приезда в Читу, — вспомнит он, — призывает меня к частоколу Александра Григорьевна Муравьёва (жена Никиты Муравьёва) и отдаёт листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:

*Мой первый друг, мой друг бесценный!*



*И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединённый,  
Печальным снегом занесённый,  
Твой колокольчик огласил.  
Молю святое провиденье:  
Да голос мой душе твоей  
Дарует то же утешенье,  
Да озарит он заточенье  
Лучом лицейских ясных дней!*

Пушин:

*«Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминаниями друга; но она поняла моё чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах: а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось».*

19 октября 1826 года — на первой лицейской сходке после восстания на Сенатской площади, после страшных приговоров, Пушкина ещё не было. Стихи свои прочёл Илличевский — они почти не касались того, что мучило, занимало всех!

*Хвала лицейским! Свят обет*

*Им день сей праздновать свиданьем,*

*Уже мы розно девять лет,*

*Но связаны воспоминаньем!*

*И что же время нам?*

*Оно Расторгнуть братских уз не смеет,*

*И дружба наша, как вино,*

*Тем больше крепнет, чем стареет.*

Но Дельвиг не мог смолчать. Дельвиг соединил тех, кто на свободе, с теми, кто в цепях:

*Снова, други, в братский круг*

*Собрал нас отец похмелья,*

*Поднимите ж кубки вдруг*

*В честь и дружбы и веселья.*

*Но на время омрачим*

*Мы веселье наше, братья,*

*Что мы двух друзей не зрим  
И не жмём в свои объятия.  
Нет их с нами, но в сей час  
В их сердцах пылает пламень.  
Верьте. Внятен им наш глас,  
Он проникнет твёрдый камень.  
Выпьем, други, в память их!  
Выпьем полные стаканы.  
За далёких, за родных  
Будем ныне вдвое пьяны.*

### **XXVI. НО КУДА ЖЕ?**

*«15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечательен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем я обедал. При расплате недостало мне 5 рублей, я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублей и уехал, очень недоволен сам собою. На следующей станции нашёл я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. «Вероятно, поляки?» — сказал я хозяйке. «Да, — отвечала она, — их нынче отвозят назад». Я вышел взглянуть на них. (подразумевались члены польских тайных обществ, которых везли из Петербурга после допросов — **Н.Э.**)*

*Один из арестантов стоял, оперишись у колонны. К нему подошёл высокий, бледный и худой молодой человек с чёрною бородою, в фризовой шинели... Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга — но куда же?»*

*Везли в Динабургскую крепость. Фельдъегерь Подгорный, сопровождавший арестантов, докладывал начальству:*

*«Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева некто г. Пушкин, начал после поцелуя с ним разговаривать, я, видя сие, наипоспешнее отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для прописания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру деньги, я в сём ему отказал. Тогда он, г.Пушкин, кричал и угрожал мне, говорит, что «по прибытии в С. Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег, — сверх того, не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу». Сам же г.Пушкин между прочим угрозами объявил мне, что он был посажен в крепости и потом выпущен, почему я ещё более препятствовал иметь ему сношения с арестантом; а преступник Кюхельбекер сказал мне: «Это тот Пушкин, который сочиняет».*

Кюхле — несколько дней пути до Динабургской крепости. Пушкин же расскажет друзьям обо всём через четыре дня, 19 октября 1827 года, в день серебряной дружбы, на квартире у Яковлева. В тот вечер, когда было сочинено:

*Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!  
Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли!*

Пуцин:

*«В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являющимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нём некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года»:*

Бог помочь вам, друзья мои...

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребённых, которых они не досчитывали на лицейской сходке».

## **XXVII. ВСЕМУ ПОРА**

Пройдёт год.

**19 октября 1828 года**

«Собралися на пепелище скотобратца Курнофеуса Тыркова (По прозвищу Кирпичного бруса) 8 человек скотобратцев, а именно: Дельвиг — Тося, Илличевский — Олосенька, Яковлев — паяс, Корф — дьячок Мордан, Стевен — Швед, Тырков — (смотри выше), Комовский — лиса, Пушкин — француз (смесь обезьяны с тигром).

а) пели известный лицейский пэан лето знойна ...

Пушкин-француз открыл, и согласил с ним сочинитель Олосенька, что должно вместо общеупотребляемого припева лето знойна петь как выше означено\*.

б) вели беседу

с) выпили вдоволь их здоровий

д) пели репутацию г-на Беранжера\*\*

е) пели песню о царе Соломоне

ф) пели скотобратские куплеты прошедших 6-ти годов

г) Олосенька в виде французского тамбура мажора утешал собравшихся

h) Тырковиус безмолвствовал

и) толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновение скотобратцев

к) Паяс представлял восковую персону

l) и завидели на дворе час 1-ый и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского Лицея Пушкину-французу, иже написа сию грамоту

Дельвиг (Тосенька)

Илличевский (Олосинька)

Яковлев (Паяс-Комик)

Корф (Дьячок Мордан)

Стевен (Швед)

*Кирпичный брус (Тырков)  
Комовский (Лиса)  
Пушкин (Француз)  
Усердно помолившись богу,  
Лицею прокричав Ура,  
Прощайте, братцы: мне в дорогу,  
И вам в постель уже пора».*

*\* «Лето знойна» придумано для усиления шутливой бессмыслицы старинной лицейской песни.*

*\*\* то есть пушкинскую пародию на французского поэта Беранже.*

Весь протокол написан рукою Пушкина, прямо с праздника уезжавшего в Тверскую губернию.

Идёт время. Оканчиваются 1820-е годы, скоро пойдут 1830-е...

*«Кто в гробе спит, кто дальный сиротее»; «Судьба, судьба рукой железной...»*

Восемь скотобратцев вспоминают или поминают всех остальных.

Из лицейских одноклассников после пушкинского послания «Мой первый друг...» вторым не испугался написать в «*капторжные норы*» Павел Мясоедов.

Однажды Пущин передаёт несколько строк Энгельгардту:

*«Скажите что-нибудь о наших чугуниках, об иных я кой-что знаю, из газет и по письмам сестёр, но этого для меня как-то мало. Вообразите, что от Мясоедова получил год тому назад письмо — признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее был очень рад. Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голос знакомого из-за Байкала».*

Мясоедов, Мясозоров — по дарованиям последний в Лицее; лет 12 назад упоминание о его письмах вызвало бы взрыв жесточайших шуток... Но лицейское братство общее — все его равноправные члены; и вот полтора века спустя найдено в архиве трогательное послание старшей сестры Пущина Екатерины Ивановны к брату в Сибирь (от 17 января 1829 г.):

*«Мой бесценный, добрый мой Жанно. Вчера имела я удовольствие видеть у себя Мясоедова. Слышать его было мне очень приятно, вспоминать старину — то счастливое время,*

*когда мы ездили в Царское Село — всех фигур, которых там видела. Он очень любезен и главное его достоинство, что был тебе товарищ и братски тебя любит. Мне невероятно, чтоб в Туле мог быть человек такого рода — человек, воспитанный в Лицее; так жаль, что поздно его узнали — видеть его так мне отрадно, потому что один разговор, хоть и раздирает душу, но вместе и лечит её».*

Среди сохранившихся писем, полученных Пушиным на каторге, есть и послание Мясоедова, отправленное в одном конверте с письмом сестры от 17 января. Через 40 дней оно достигнет адресата...

Душевное лицейское послание, одна из многих примет участия и воспоминания об осуждённых.

*«Любезный, милый друг мой Иван Иванович, пишу к тебе и сим желал бы выразить, как много сердце моё берёт в горе твоём живого участия; может быть, рука моя умела б описать всю силу дружбы и с детства привязанности, кои я питаю, и перо в сём случае есть дурной доверитель наших чувств — потому и не в Туле приятный случай познакомил меня и сблизил с Милостливой Государыней сестрицею твоею Катериной Ивановной и с преданным тебе другом Иваном Александровичем (генерал И.А. Набоков, муж Е.И.Пушиной) ты, брат Иван, будешь крепким звеном между мною и ими. Бог тебе милостлив, он наделил тебя такими родными, каких мало я встречал, сколько заметить мог, ты, кажется, есть спутник помышлений Катерины Ивановна, она страдает беспрерывно по тебе, как неизменный друг, как нежная сестра; храни здоровье твоё и надежды на будущую судьбу...*

*Вчера я был у них и беспрестанный разговор о тебе и воспоминание о минувшем воспитании и о счастливых днях царско-сельской жизни нашей — видел я — что, хотя на несколько минут, разговор сей утишал на время её душу; а я сим вполне утешился... уж их так люблю, как самых близких сердцу родных моих; ибо достаточно одного слова, что ты рос со мною, чтобы (сколько я понимаю) заставлять обоих превосходных людей сблизиться со мною.*

*Порадуй меня, друг мой, дай знать через сию благодетельную Даму, сию примерную в нежности жену (подразумевается жена декабриста М.М.Нарышкина Елизавета Петровна, чьею рукою написаны многие ответные письма Пущина лишённого права писать самому), чем могу служить тебе, уведомя, не можно ли тебе чего выслать, прошу тебя, будь откровенен, не откажи мне в сей отраде.*

*Наши все 29-ть человек лицейских (другого названия я и дать не смею) рассеяны по лицу земли, летом Дельви́г, беспечный сей философ, был у нас с женою, а о других слышу, что все здоровы. Я отец милых мне сыновей — Александра, Константина, Николая, жена моя, как брату, тебе кланяется и спрашивает, не нужно ли тебе чего прислать. — Письмо сие я посылаю к тебе в письме Катерины Ивановны: прощай, друг и брат, будь здоров и помни совершенно тебе преданного и любящего крепко Павла Мясоедова;*

*Я сделался сельским совсем жителем; живу в 12-ти верстах от Тулы».*

3 февраля 1829 года Е. И. Набокова извещала брата:

*«Мясоедова часто вижу — он очень любезен. Хорош очень, говорит, и главное — говорит о том, что мне приятно».*

Вскоре за шесть тысяч вёрст отправляются новые лицейские известия:

21 февраля. *«Был проездом И. В. Малиновский в Туле, провёл с нами день. Как он добр с детьми... Могу сказать, что душа моя радовалась, видя его — можешь верить и вообразить, как с ним вспоминали старину — первые минуты свидания были очень тяжёлы — добрый человек — как я ему благодарна, что вспомнил нас... Дети от него в восхищении — одним словом, это был для меня незабвенный день... О, как он тебя любит!»*

Малиновский, отставной полковник, родственник и приятель многих декабристов, вряд ли бы уклонился от участия в мятеже 14 декабря, если бы не вышел в отставку за несколько месяцев до событий. (Он служил в Финляндском полку, одном из наиболее затронутых волнением!) Зато участвовал в восстании и отправлен на каторгу его свояк Андрей Розен. Зимой 1829 года Малиновский едет из своего харьковского имения на север, и эта поездка — заметное событие для поредевших лицейских рядов.

Следующие сведения о ней уже от Николая Пущина, младшего брата Ивана Ивановича.

**26 февраля 1829 года:**

*«Презабавно вообразить, что Малиновский, уездный предводитель дворянства и вообще помещик, на короткое время сюда приезжает...»*

*Был в Царском Селе. Чириков, через 15 или 16 лет, как я его видел, нисколько не переменился, только прибавилось седых волос. Зал в Лицее совершенно тот же, каким я его видел, приезжая к тебе: можешь вообразить, бесценный мой Жанно, какие чувства овладели мною при входе в оный».*

**12 марта:**

*«На сих днях уехал отсюда Малиновский; он меня познакомил с двумя молодыми людьми — Илличевским и Корфом, с коими давно хотел увидеться и нигде не случилось встречаться. Стевена никак не могу заполучить к нам, гораздо более меня застенчив. Прощай, бесценный Жанно!»*

**25 мая 1829 года** пишет сестра Анна Ивановна Пущина (по-французски):

*«У Суворочки всё в порядке, он отзывается о тебе, мой бесценный, всегда с неизменной печалью; Малиновский, возвращаясь, опять встретился с Екатериной Набоковой в Туле, и это было очень приятно им обоим».*

Пущин, когда присылал весточки с каторги, осторожничал при упоминании тех, кто ещё на свободе, он боялся повредить друзьям, особенно тем, кто «под надзором», не называя, например, Пушкина; однако некоторые вопросы каторжанина, связанные с лицейскими и декабристскими воспоминаниями, угадываются по ответным репликам родных:

*«Данзаса я ещё не видела», —* пишет сестра Екатерина в конце 1829 года.

**25 августа 1829 года** Михаил Пущин, младший брат декабриста и тоже декабрист (сосланный на Кавказ), посылает из Кисловодска в Читу нечто вроде краткого отчёта о пушкинском пребывании на Кавказе, по пути в Арзрум и обратно:

*«Лицейский твой товарищ Пушкин, который с никою в руках следил турок перед Арзрумом, по взятии одного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды, и по две ванны принимаем*



*в день — разумеется, часто о тебе вспоминаем — он любит тебя по-старому и надеется, что и ты сохраняешь к нему то же чувство».*

В том же письме М. И. Пущин жаловался, что давно не знает ничего *«о своих и о тебе — письма мои всё гуляют в Арзуме — не знаю, скоро ль буду оные опять регулярно получать — Вольховский, с которым жил в нынешнем походе, занемог в Арзуме и возвратился лечиться в Тифлис — сегодня я получил от него письмо — он также интересуется о тебе».*

Братья Пущины разбросаны по миру, каторжному и ссыльному, не скоро увидят отчий дом, однако возвращение Пушкина с театра военных действий в столицу позволяет передать особенный, «живой привет»...

*«Пушкин приехал, — радуется поздней осенью 1829 года сестра декабристов Анна Пущина, — и я надеюсь, что он придёт повидаться с нами и рассказать о Михаиле, вместе с которым он провёл некоторое время на водах! Я попрошу у него его сочинения для тебя или для твоих...»*

Впрочем, благочестивая сестра декабриста тут же поясняет: *«Мне было совестно — самой купить и послать сочинения Пушкина, мне кажется, что вы не можете такими пустяками заниматься, зато есть книга, которую я пошлю тебе при первом же случае»* (речь идёт о «душеспасительном чтении», которое, впрочем, не вызывало особого любопытства у всегда твёрдого духом, весёлого, ироничного Ивана Пущина).

Через две недели, **24 ноября 1829 года**, сестра извещала брата:

*«Пушкин пришёл однажды утром, когда меня не было; поскольку на него очень большой спрос, вряд ли он в ближайшее время повторит свой визит, что меня очень огорчает. Я имею столько вопросов к нему о Михаиле. Он сказал, что (двадцатидевятилетний) Михаил настолько постарел, что ему дают 40 лет. Бедняга!...»*

Поэт хоть и не встретился с одной из сестёр Пущина, но всё же и поговорил с другими родственниками и, как видно, исполнил просьбу об отправке за Байкал нужных узникам книг.

Таким образом, в начале 1830 года в Читу пришёл ещё один пушкинский привет. Отношения поэта с родственниками

Пушина явно отличаются особенной близостью; кроме приведённых строк, больше в семейных письмах о нём нет упоминаний.

Зато Пушкин является Пушину и его товарищам своими, особенными путями: прежде всего потаёнными стихами «Мой первый друг...», «Бог помочь вам», «Во глубине сибирских руд»; затем в свежих изданиях книг и журналов, в новых своих сочинениях; наконец, голос Пушкина звучит среди разнообразных проявлений любви и дружества, постоянно идущих из родных мест в Восточную Сибирь.

### ***XXVIII. В СВОЁМ ВЕСЕЛИИ МРАЧНЕЕ...***

*Чем чаще празднует Лицей  
Свою святую годовщину,  
Тем робче старый круг друзей  
В семью стесняется едину,  
Тем реже он; тем праздник наш  
В своём веселии мрачнее;  
Тем глуше звон заздравных чаш  
И наши песни тем грустнее.*

Теперь, в 1830-х годах, уж ни одной годовщины не проходит без дружеского сборища — с годами «*чаще празднует Лицей*».

19 октября 1831 года Пушкин искал дом, где собрались товарищи, но заблудился и не нашёл... За несколько дней до того он вернулся из милого сердцу Царского Села, где с молодой женой провёл целое лето — среди расползающейся вокруг холеры, среди закипающих народных бунтов, приносящегося с запада грома: польского, французского и иных мятежей.

Никогда по выходе из Лицея Пушкин не жил так долго в «*отечестве — Царском Селе*».

Легко вообразить, какие предания и легенды рассказывались среди юных лицеистов 1831 года о знаменитом первом, пушкинском курсе, о выпускниках 1817-го, среди которых одни служат в дальних посольствах и миссиях, другие содержатся в «*мрачных пропастях земли*», третьи живут где-то рядом. Но разве их увидишь?

И вот вечером 27 июля 1831 года в лицейском саду появляется Пушкин, и — оробели ученики VI курса (то есть шестого по счёту выпуска со времени основания Лицея); один из них, Яков Грот, будущий известный академик, историк литературы и пушкинист, рискнул подобрать и спрятать лоскуток, оторвавшийся от пушкинской одежды; подойти же и заговорить решил — только восемнадцатилетний Павел Миллер. Эту сцену он запомнит на всю жизнь:

*«За несколько шагов сняв фуражку, я сказал взволнованным голосом: «Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться».*

*«Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, — очень рад».*

*Непритворное радушие видно было в его улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию и курс.*

*«Так я вам не дед, даже не прадед, а я вам пращур...»*

*Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил — отчего они ему вытягиваются? — он отвечал: «Право, не знаю. Разве потому, что я с палкой».*

---

*Шесть мест упразднённых стоят.*

*Шести друзей неузрим боле,*

*Они разбросанные спят —*

*Кто здесь, кто там на ратном поле,*

*Кто дома, кто в земле чужой,*

*Кого недуг, кого печали*

*Свели во мрак земли сырой,*

*И надо всеми мы рыдали.*

*Это писано к лицейскому дню 1831 года.*

*Шесть умерших друзей...*

**1.** Николай Ржевский, *Кис*.

**2.** «Кудрявый наш певец» — Корсаков.

Примерно в это время сестра Кюхельбекера поклонится в Италии тому маленькому памятнику, о котором уже говорилось, сорвёт на могиле померанцевый листок и отправит Кюхле в Забайкалье. *«Листок этот, — свидетельствуют современники, —*

*Кюхельбекер хранил как реликвию, как святыню, вместе с портретом матери, с единственной дошедшей до него рукописью отца, с последним письмом и застёжкой от мантии Пушкина и с письмом Жуковского».*

3. Константин Костенский, *Старик*; скромный чиновник при фабрике ассигнаций, он редко появляется у друзей, так что Яковлев однажды предположил, будто «он ходит со шляпой-невидимкой», а в другой раз писал (по поводу смерти отца Костенского): «С тех пор, как старик старика похоронил, никто старика уж не встречал». Год назад, перед 19 октября, его звали на общий праздник, а он отвечал Вольховскому трогательным письмом:

*«Любезнейший Владимир Дмитриевич, потрудитесь благодарить гг. моих товарищей за сделанное мне приглашение: оно для меня лестно, тем более что этим самым показывает, что любовь товарищей первого выпуска пылает всё так же и в 1830 году, как и в 1811-м. Но мне, к крайнему сожалению, нельзя ничего ни есть, ни пить. Поверь мне, любезнейший Владимир Дмитриевич, что это истинная правда. Повеселитесь, господа, и без меня, а за здоровье больного хоть одну рюмку.*

*Вам преданный К. Костенский. 19 октября 1830 г.».*

Болезнь, помешавшая встрече, оказалась смертельной. И, может быть, 19 октября 1831 года вспомнили об известной страсти *Старика* — рисовании. Сто лет спустя известный искусствовед А. М. Эфрос, изучив изображение гусара и другие ученические рисунки Костенского, заметит: «Лист с гусаром наводит на мысль, что рисование было какой-то уединённой его привязанностью, мрачной страстью... Лицей был для него, *Старика*, ни к чему. Он нуждался в иной школе. Лицейский недоросль мог бы успевать на скамье Академии художеств... Его «Гусар» говорит столько же о том, чем он мог бы стать, сколько и о том, чем он не стал».

4. Пётр Саврасов. Жестокая петербургская чахотка неожиданно одолела крепкого, исправного, добродушного полковника. «*Рыжий*», «*Рыжак*», «*Рыжий долгоносый полковник*» — эти шутки в письмах Яковлева и Энгельгардта со временем делались всё печальнее: незадолго до лицейской встречи приходит весть о его кончине в Гамбурге...



5. Семён Есаков. Эта смерть всё в том же, 1831 году была неожиданной: один из лучших учеников Лицея, блестящий артиллерийский полковник, он был направлен на подавление польского восстания. Военное счастье приходило то к одной, то к другой стороне. И тут вдруг стало известно, что Есаков застрелился.

*«Ужасное происшествие с несчастным Есаковым меня очень поразило, — писал Энгельгардт Вольховскому. — Я не мог по сие время узнать подробности; иные говорят, что он в каком-то деле потерял пушки, — это, конечно, плохо, но чем за то наложить на себя руку убийцы, лучше бы отчаянно броситься на неприятеля и умереть честною смертью. Другие толки идут, будто бы начальник его сделал ему упрёки, которые ему показались несносными».*

Остались вдова и трое детей (один из сыновей, Евгений Семёнович, через четырнадцать лет получит золотую медаль

Лицея, а ещё через пять лет попадёт в крепость по делу петрашевцев).

6. И ещё одна, недавняя, самая страшная для Пушкина утрата — Дельвиг. Редактор «Литературной газеты», начатой по мысли Пушкина, создатель знаменитого альманаха «Северные цветы», он стойко вёл нелёгкую, неравную борьбу с властью и враждебной булгаринской печатью. По воспоминаниям двоюродного брата поэта, на его здоровье губительно подействовал вызов к Бенкендорфу. Шеф жандармов кричал, угрожал Дельви-гу, обращался к нему на «ты», обещал отправить его, Пушкина и Вяземского, *«если не теперь, то вскоре»*, в Сибирь. Дельвиг не испугался, добился даже извинений Бенкендорфа, но впал в апатию; литературная борьба, стихи, публицистика — всё это вдруг показалось ненужным, безнадёжным. Именно в таком состоянии некогда, вероятно, убил себя Радищев...

Семейные неурядицы, слабое здоровье — все эти неудачи можно перенести, если дух твёрд, ясен и цель несомненна. Но в момент отчаяния Дельви-гу, в сущности, не к кому было обратиться. Пушкин — в Москве... 21 января 1831 года Александр Сергеевич отзывается Плетнёву:

*«Вечером получил твоё письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная... Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считаю по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский, вот и всё.*

*Вчера провёл я день с Нащокиным, который сильно пора-  
жён его смертью,-говорили о нём, называя его покойник Дель-  
виг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Не-  
чего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так».*

*И мнится, очередь за мной,  
Зовёт меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ, песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в страну теней родных  
Навек от нас утёкший гений...*

Снова и снова Пушкин вспоминает о Дельвиге:

*«Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли? Я знал его в Лицее — был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души и таланта, которому ещё не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всём, что душу волнует, что-сердце томит. Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты (Плетнёв) и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же троём жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами...»*

Замысел осуществить не удалось, но в бумагах Пушкина осталось начало его замечательных воспоминаний о друге.

*Тесней, о милые друзья,  
Тесней наш верный круг составим,  
Почившим песнь окончил я,  
Живых надеждою поздравим,  
Надеждой некогда опять  
В миру лицейском очутиться,  
Всех остальных ещё обнять  
И новых жертв уж не страшиться.*

### ***XXIX. ПРАЗДНОВАЛИ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ...***

*Всему пора: уж двадцать пятый раз  
Мы празднуем Лицея день заветный.  
Прошли года чредою незаметной,  
И как они переменили нас!  
Недаром — нет! — промчалась четверть века!  
Не сетуйте: таков судьбы закон;  
Вращается весь мир вокруг человека, —  
Ужель один недвижим будет он?*

*«Праздновали двадцатипятилетие Лицея (на Екатерининском канале, в бывшем Библийском доме, возле Михайловского дворца, на квартире Яковлева): П. Юдин, П. Мясоедов, П. Гревениц, М. Яковлев, Мартынов, Модест Корф, А. Пушкин, Алексей Иличевский, С. Комовский, Ф. Стевен, К. Данзас».*

Одиннадцать человек из двадцати трёх живущих — немало! Три года спустя один из них, сделавший наилучшую карьеру, — тайный советник в министерской должности Модест (*Модинька*) Корф составит список всех одноклассников, снабдив его собственными характеристиками.



Если внимательно вчитаться в текст этой записи, то можно убедиться, что Корф фактически делит своих однокашников на три категории: первая — сделавшие карьеру, то есть те, кто к сорока годам «оправдал надежды воспитателей», достиг генеральского чина или близок к нему. К их числу относится одиннадцать человек — чуть больше трети первого выпуска, причём карьера двух-трёх из них (Комовский, Яковлев, Матюшкин) для Корфа ещё «под вопросом». Больше других преуспел к 1839 году по служебной лестнице сам Корф; не столь удачливы, но вполне благополучны (по мнению автора записи) Стевен, Бакунин, Гревениц, Маслов, Корнилов, Ломоносов и Юдин.





Вторая категория — люди, по определению Корфа, погибшие. Пушкин будет седьмым («И мнится, очередь за мной...»), за ним ушли ещё двое, Илличевский, Тырков. Девять ушедших, а на самом деле десять, так как Сильвестр Броглио (чья судьба была одноклассникам неизвестна) сложил голову, сражаясь за свободу Греции...

Помянув девятерых умерших без особого пиетета, Корф к числу погибших прибавляет холодно: *«Ещё двое умерли политически»* — Кюхельбекер и Пущин. Впрочем, о Пущине Корф отзывается с несвойственным ему доброжелательством, разумеется, осуждая *«ложный взгляд»* декабриста, но отдавая должное *«светлому уму»*, *«чистой душе»*.

Итак, двенадцать «погибших» лицейских из двадцати девяти.

Наконец, третья группа одноклассников в Корфовом дневнике — это «неудачники», чья карьера остановилась. Их шестеро — Малиновский, Мясоедов, Данзас, Мартынов, Вольховский, Горчаков (Дельвиг и Пушкин были бы для Корфа, вероятно, в их числе, если бы дожили до 1839 года). Своеобразный эпиграф к их судьбе — фраза, попавшая в «аттестацию Данзаса»: *«счастье никогда ему не благоприятствовало»*. Меж тем среди погибших или опальных лучшие ученики-медалисты: 1-я золотая медаль Вольховский, 2-я — Горчаков, серебряные — Есаков, Кюхельбекер.



Блестящий кавказский воин, генерал Вольховский несправедливо обвинён: вынужден в расцвете сил уйти в отставку — в сущности, «съеден» всемогущим фаворитом царя — генералом Паскевичем. Вольховскому ещё всего два года жить на свете...

Горчаков... Мы привыкли, что он первый в карьере. Но это потом, в 1850-1860-х годах, а пока и для князя Рюриковича с таким аттестатом и такими дарованиями, кажется, нет будущего: честолюбие — любит честь... Его карьера была приостановлена ссорой со всемогущим Бенкендорфом — тем самым, кто кричал на Дельвига, допрашивал Кюхельбекера, надзирал за Пушкиным... Однажды шеф жандармов прибывает в Вену, где Горчаков заменяет посланника. Разговор холодный, Бенкендорф даже не приглашает собеседника сесть и требует: *«Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед»*, Горчаков спокойно звонит в колокольчик, вызывает метрдотеля и объясняет генералу, что он может заказать обед сам. Бенкендорф получает щелчок, чего, конечно, не забудет. Вскоре на Горчакова было заведено дело, где значилось: *«Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию»*.

Хотя Бенкендорф вскоре умер, но дело осталось. Лишь через несколько лет Горчаков не без труда получает скромную должность посланника в маленьком германском королевстве Вюртемберг, где пробудет тринадцать лет.

Горчаков *«служить бы рад, прислуживаться — тошно»*. Жизнь и карьера клонятся к закату. Пушкин предсказывал блестящую фортуна, но, узнав о красавице княгине Марии Александровне, о двух сыновьях и бледной карьере князя, — узнав это, Пушкин, возможно, порадовался бы. Княгиня, однако, вдруг заболевает и умирает...

В конце своего списка Корф подводит итоги.

Картина печальная. Ещё молодые — и уже каждый третий умер, причём некоторые от пули. Семейные радости совсем не распространены — всего одиннадцать женатых; и тут многим — *«счастье не благоприятствовало»*. Даже генералы или почти что генералы, как видит Корф, тоже склонны к разным нелепостям и странностям: кто более занят ботаникой, чем военной службой, кто *«пуст, странен и смешон»*, кто с ума тронулся, кто просто *«оригинальничает»*, и почти все *«ленивы»*.





Неудачники — это слово витает над списком, оно относится к даже преуспевшим; и на память приходит ещё одно определение, более привычное, из литературы тех десятилетий — лишние люди.

Они ведь и вправду для николаевских десятилетий лишние, эти мальчики 1811-1817 годов, гадавшие в своё время, как пойдёт жизнь *«перед грозным временем, перед грозными судьбами»*.

Не их время.

Модест Корф, министр, преуспел значительно больше других — и сам удивляется «случаю»; но, видно, он один сумел сделаться человеком вполне николаевского покроя.

Даже лояльные лицеисты 1-го курса, искренне старавшиеся приспособиться к новому времени, сделать карьеру не смогли.

Люди другого времени — люди начала века, 1812 года, люди той лихости, той весёлости, того обращения — пусть не декабристы, но из декабристской эпохи.

Трудно этим мальчикам, юношам, мужам в «империи фасадов» (как назвал один современник систему Николая), трудно продержаться в «замёрзших» 30-40-х годах; возможно, они не всегда это сознавали — веселились, пили, путешествовали, размышляли не о потерях, а об удачах. Поражают, например, преувеличенно оптимистические оценки лицейских успехов в письме Е. А. Энгельгардта Пушкину, посланном 22 августа 1839 года, буквально в те же дни, когда составлялась невесёлая дневниковая запись Корфа: *«Ныне здесь на наших полоса. Искали их, ищут, и всё в почётные места. Не говорю уже о Государственном секретаре, а в последнее время сколько наших пристроено!»* Да, с виду дела у многих неплохи.

Но всё же не раз, например, в разговорах на лицейской годовщине вдруг выясняется, что служба не очень уж идёт, и странности на уме, и семья не образуется, и смерть приходит... Уж не об этом ли — в незаконченном лицейском стихотворении на последней лицейской встрече, 19 октября 1836 года?

*Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался,  
И с песнями бокалов звон мешался,  
И тесною сидели мы толпой.  
Тогда, душой беспечные невежды,  
Мы жили все и легче и смелей,  
Мы пили все за здоровье надежды  
И юности и всех её затей.  
Теперь не то: разгульный праздник наш  
С приходом лет, как мы, перебесился,  
Он присмирел, утих, остепенился,  
Стал глуше звон его заздравных чаш;  
Меж нами речь не так игриво льётся,  
Просторнее, грустнее мы сидим,  
И реже смех средь песен раздаётся,  
И чаще мы вздыхаем и молчим...*

### XXX. СКАЖИ ВИЛЬГЕЛЬМ...

*Опомнимся — но поздно! и уныло*

*Глядим назад, следов не видя там.*

*Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,*

*Мой брат родной по музе, по судьбам?*

Судьба Кюхельбекера после той, последней, встречи с Пушкиным на глухой станции Залазы 15 октября 1827 года была особенно немилостивой. Ему не дали соединиться с другими декабристами-каторжниками, прошедшими свои «казематные сроки», по крайней мере, вместе: десять лет Кюхельбекер проведёт в тюрьмах и крепостях; он не сдаётся, старается сочинять и находит способ пересылать свои новые стихи (вместе с потаёнными письмами) другу Пушкину, а Пушкин сумел, конечно без имени автора, напечатать сочинения декабриста.

Однажды из крепости Кюхля пишет своей племяннице следующие строки:

*«Были ли вы уж в Царском Селе? Если нет, так посетите же! когда-нибудь моих пенатов, т. е. прежних... Мне бы смерть как хотелось, чтобы вы посетили Лицей, а потом мне написали, как его нашли. В наше время бывали в Лицее и балы, и представь, твой старый дядя тут же подплясывал, иногда не в такт, что весьма бесило любезного друга его Пушкина, который, впрочем, ничуть не лучше его танцевал, но воображал, что он по крайней мере cousin german (двоюродный брат — франц.) госпожи Терпсихоры, хотя он с нею и не в близшем родстве, чем Катенин со мною, у которого была привычка звать меня ton chere cousin. Странно бы было, если бы Саше случилось танцевать на том же самом паркете, который видел и на себе испытал первые мои танцевальные подвиги! А впрочем, чем судьба не шутит? — Случиться это может. — Кроме Лицея, для меня незабвенна придворная церковь, где нередко мои товарищи певали на хорах. Голоса их и поныне иногда отзываются в слухе моем. Да что же и не примечательно для меня в Царском Селе? В манеже мы учились ездить верхом; в саду прогуливались; в кондитерской украдкой лакомились; в директорском доме, против самого Лицея, привыкали к светскому обращению и к обществу дам. Словом сказать, тут нет мест, нет почти камня, ни дерева, с которым не было сопряжено какое-нибудь*

*воспоминание, драгоценное для сердца всякого бывшего воспитанника Лицея. Итак, прошу тебя, друг мой Сашенька, если будешь в Царском Селе, так поговори со мною о нём, да подробнее».*

Сохранились два письма, тайком посланных Вильгельмом Александру: и можно ли сомневаться в появлении этих листков на лицейской сходке? Одно было отправлено с помощью некоего доброжелателя в 1830-м, как раз тогда, когда Пушкин находился в Болдине.

*«Любезный друг Александр.*

*Через два года, наконец, опять случай писать к тебе: часто я думаю о вас, мои друзья, но увидеться с вами надежды нет, как нет; от тебя, т. е. из твоей Псковской деревни до моего Помфрета (Кюхельбекер сравнивает Динабургскую крепость, где он находился, с английским тюремным замком, известным по Шекспиру) правда, недалеко; но и думать боюсь, чтоб ты ко мне приехал... А сердце голодно: хотелось бы хоть взглянуть на тебя! Помнишь ли наше свидание в роде чрезвычайно романтическом: мою бороду? Фризовую шинель? Медвежьё шапку? Как ты через семь с половиной лет мог узнать меня в таком костюме? вот чего не постигаю!*

*Я слышал, друг, что ты женишься: правда ли? Если она стоит тебя, рад...*

*Вообще я мало переменился; те же причуды, те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в Лицее! Стар я только стал, больно стар и почему-то туп: учиться уж не моё дело — и греческий язык в отставку, хотя он меня ещё занимал месяца четыре тому назад: вижу, не даётся мне! Усовершенствоваться бы только в польском: Мицкевича читаю довольно свободно...*

*Мой друг, болтаю: переливаю из пустого в порожнее, всё для того, чтобы ты мог себе составить идею об узнике Двинском: но разве ты его не знаешь? и разве так интересно его знать? — Вчера был Лицейский праздник: мы его праздновали, не вместе, но — одними воспоминаниями, одними чувствами. — Что, мой друг, твой Годунов? Первая сцена: Шуйский и Воротынский, бесподобна; для меня лучше, чем сцена: Монахи Отрепьев; более в ней живости, силы, драматического. Шуйского*



бы расцеловать: ты отгадал его совершенно. Его: «А что мне было делать?» — рисует его лучше, чем весь XII том покойного и спокойного историографа. Но господь с ним! *De mortuis nil, nisi bene* (О мёртвых ничего, кроме хорошего — лат.).

Прощай, друг! Должно ещё писать к Дельвигу и к родным: а то бы начертил тебе и поболе.

— *for ever your William*».

Навсегда твой Вильям...

Ответные письма Пушкина к Кюхле (а они, без сомнения, были) до сей поры не найдены... А меж тем, выйдя из тюрьмы на поселение и получив право писать, Кюхельбекер из далёкого забайкальского Баргузина сразу же поблагодарит Пушкина:

*«...мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам; долг, потому что и ты же более всех прочих помнил о нашем затворнике. Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны; раз, они служили мне доказательством, что ты не совсем ещё забыл меня, а во-вторых, приносили в моём уединении большое мне моем уединении удовольствие...*

*Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать всё благородство твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось».*

В сложные и смутные 1830-е годы «брат родной по музе, по судьбам» — Кюхельбекер был одним из самых глубоких и тонких ценителей новых творений поэта.

Как известно, в последние годы жизни Пушкин часто сталкивался с охлаждением, непониманием даже со стороны некоторых друзей; страдал от безразличия и недоброжелательности «светской черни». А вот «милый Кюхля», прочитав в глухом каземате последние главы «Евгения Онегина», напишет:

*«Поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну. Для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин*

*преисполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет».*

Можно только удивляться дружеской интуиции Вильгельма, давшей ему возможность через годы и вёрсты проникнуть во внутренний мир друга, понять и почувствовать так много. Накануне того дня, когда лицеисты сошлись на своё двадцатипятилетие, Кюхельбекер в сибирской дали тоже вспомнит лицейский день: *«Завтра 19 октября. — Вот тебе, друг, моё приношение. Чувствую, что оно недостойно тебя, — но, право, мне теперь не до стихов».*

*Поминки нашей юности и я  
Их праздновать хочу, — воспоминанья,  
В лучах дрожащих тихого мерцанья,  
Воскресните! — Предстаньте мне, друзья;  
Пусть созерцает вас душа моя,  
Всех вас, Лицея нашего семья!  
Я с вами был когда-то счастлив, молод, —  
Вы с сердца свеете туман и холод!  
Чьи резче всех рисуются черты  
Под взорами моими? Как перуны  
Сибирских гроз, его золотые струны  
Рокочут... Пушкин! Пушкин! это ты!  
Твой образ — свет мне в море темноты...*



Там же, в Сибири, продолжает отмечать лицейские дни, готовится к четвертьвековому юбилею своего выпуска и *Большой Жанно*.

*Но ты счастлив, о брат любезный,*

*На избранной чреде своей...*

Да, Пущин был счастлив. Повторял — «главное — не терять поэзии жизни».

Он пеняет тем, кто не ходит на лицейские встречи. Однажды напишет директору Энгельгардту:

*«Горько слышать, что наше 19 октября пустеет: видно, и чугунное кольцо истирается временами. Досадно мне на наших звездоносцев: кажется, можно бы сбросить эти пустые регалии и явиться запросто в свой прежний круг».*

*Да озарит он заточенье*

*Лучом лицейских ясных дней!*

19 октября 1836-го на вечере первых лицеистов в доме Яковлева среди разговоров об отсутствующих была, конечно, передана весть, пришедшая недавно от Большого Жанно к бывшему директору: 1 февраля 1836 года за семь тысяч вёрст, с забайкальского Петровского завода, отправилось в Петербург письмо, написанное рукою Марии Николаевны Волконской, исполнявшей в этом случае роль добровольного секретаря. Послание начинается строками:

*«Из письма Аннет (сестра И. И. Пущина) Вы давно узнали, что я получил «Шесть лет», ещё в декабре месяце; Вы видели мою благодарность, повторять её не буду. Вы давно меня знаете...»*

Как мы догадываемся из этих строк, бывший лицейский директор незадолго перед тем присылает строки и ноты, взволновавшие узника-лицеиста. «Шесть лет» — это старая лицейская песня, сочинённая Дельвигом по случаю окончания Лицея:

*Шесть лет промчались, как мечтанье,*

*В объятьях сладкой тишины,*

*И уж отечества призванье*

*Гремит нам: шествуйте, сыны!*

*Простимся, братья! рука в руку!*

*Обнимемся в последний раз!*

*Судьба на вечную разлуку,*

*Быть может, породнила нас!*

Этот гимн исполняется на всех лицейских встречах: воспоминание о промчавшихся, «как мечтанье», тех незабываемых шести годах, с 1811-го по 1817-й, которые они провели все вместе...

Несколько лет назад ленинградский учёный Э. Найдич заметил на одном из писем Матюшкина, посланном друзьям с другого конца мира, сургучную печать, в центре которой находились две пожимающих друг друга руки, символ лицейского союза, а по краям ясно прочитывались слова: «Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас...»

Пушкин включил в «19 октября» чуть изменённые строки из этого лицейского гимна —

\_\_\_\_\_...на долгую разлуку  
*Нас тайный рок, быть может, осудил!*

Энгельгардт, посылая Пущину «Шесть лет», вероятно, сожалел, что его ученику удастся лишь прочитать текст лицейской песни, да никак не услышать её полного музыкального исполнения, ибо опытные лицейские запевалы находятся в Петербурге, Москве, то есть в другой части света.

Пущин возражает:

*«Напрасно Вы думаете, что я не мог услышать тех напевов, которые некогда соединяли нас. Добрые мои товарищи нашли возможность доставить мне приятные минуты. Они не постыжались разобрать всю музыку и спели. Н. Крюков заменил Малиновского и совершенно превзошёл его искусством и голосом. Яковлев нашёл соперника в Тютчеве и Свистунове».*

Николай Крюков, Алексей Тютчев, Пётр Свистунов — видные деятели декабристских тайных обществ, уже десять лет томящиеся в казематах. Они не кончали Лицея и, может быть, никогда его и не видели, но они любят Пущина и хотят ему удружить.

*«Вы спросите, — продолжает Иван Иванович, — где же взялись сопрано и альт? На это скромность моего доброго секретаря не позволяет мне сказать то, что бы я желал и что, поистине, я принимаю за незаслуженное мною внимание»* (далее по-французски Мария Волконская прибавляет: *«Как видите,*

речь идёт обо мне и Камилле Ивашевой, и должна Вас заверить, что это делалось с живым удовольствием»).

Затем снова Пущин: *«Вы согласитесь, почтенный друг, что эти звуки здесь имели для меня своего рода торжественность, настоящее с прошедшим необыкновенным образом сливалось; согласитесь также, что тюрьма имеет свою поэзию, счастлив тот, кто её понимает. — Вы скажете моим старым товарищам лицейским, что мысль об них всегда мне близка и что десять лет разлуки, а с иными и более, нисколько не изменили чувств к ним. Я не разлучаюсь, вопреки обстоятельствам, с теми, которые верны своему призванию и прежде всего — нашей дружбе. Вы лучшие всякого другого можете судить об искренности такой привязанности. Кто, как Вы, после стольких лет вспомнит человека, которому мимоходом сделал столько добра, тот не понимает, чтобы время имело влияние на чувства, которые однажды потрясли душу. Я более Вас могу ценить это постоянство сердца, я окружён многими, которых оставили и близкие и родные; они вместе со мною наслаждаются Вашими письмами; и чувства Ваши должны быть очень истинны, чтобы ими, несмотря на собственное горе, доставить утешение и некоторым образом помирить с человечеством, говоря Вам правду, я как будто упрекаю других, но это невольное чувство участия к другим при мысли Вашей дружбы ко мне».*

За тысячи вёрст от Царского Села, за цепью охраны и стенами каземата — лицейская ситуация, лицейские воспоминания как бы воссозданы с помощью друзей и их жён.

С февраля по октябрь благодарственное письмо Пущина успело достигнуть столицы, попасть к своим...

Вечер двадцатипятилетия продолжается:

«4) Читали старинные протоколы, песни и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева

5) Поминали лицейскую старину

6) Пели национальные песни

7) Пушкин начинал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не dokonчил; но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу.

*Примечание: Собрались все в половине 5-го часа, разошлись в половине десятого».*

Рассказывали также, будто Пушкин сорвался, подступили слёзы, и он не смог дочитать:

*И мнится, очередь за мной,  
Зовёт меня мой Дельвиг милый...*

Через шестнадцать дней начнётся дуэльная история, а через сто два дня Пушкин погибнет.

\* \* \*



*«Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аришака. Положив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4-х часов».*

Эти строки написал сам Данзас, говоря о себе в третьем лице. Лицейскому другу Косте Данзасу, Кабулу, приходится быть секундантом Пушкина, и правила чести не позволяют отказать, а так хотелось бы... Рассказ Данзаса приведём полностью:

*«Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту.*

*Бог весть, что думал Пушкин. По наружности он был покоен...*

*Конечно, ни один сколько-нибудь мыслящий русский человек не был бы в состоянии оставаться равнодушным, провожая Пушкина, быть может, на верную смерть; тем более понятно, что чувствовал Данзас. Сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Напрасно усиливался он льстить себя надеждою, что дуэль расстроится, что кто-нибудь её остановит, кто-нибудь спасёт Пушкина; мучительная мысль не отставала.*

*На Дворцовой набережной они встретили в экипаже 2-жу Пушкину. Данзас узнал её, надежда в нём блеснула, встреча эта могла поправить всё. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону.*

*День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину и Данзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто и не догадывался, куда они ехали; а между тем история Пушкина с Геккеренами была хорошо известна всему этому обществу.*

*На Неве Пушкин спросил Данзаса, шутя: «Не в крепость ли ты везёшь меня?» — «Нет, — отвечал Данзас, — через крепость на Чёрную речку самая близкая дорога».*

*На Каменноостровском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров Конного полка: князя В. Д. Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Данзас ехали на горы, Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются?!»*

*Данзас не знает, по какой дороге ехали Дантес с д'Аришаком; но к Комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней и, сговорясь с д'Аришаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженьях в полтораста от Комендантской дачи, более крупный и густой кустарник окружил здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на*

ней происходило. Избрав это место, они утоптали ногами снег на том пространстве, которое нужно было для поединка, и потом позвали противников.

Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать.

Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, по-видимому, был столько же покоен, как и во всё время пути, но в нём выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аришиаком место, Пушкин отвечал:

— Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать всё возможно скорее.

Отмерив шаги, Данзас и д'Аришиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

— Всё ли, наконец, кончено?..

Всё было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходитьсь.

Пушкин первый подошёл к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая (раненый Пушкин упал на шинель Данзаса, который сохранил окровавленную подкладку), сказал:

— Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка.

Секунданты бросились к нему, и, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами:

— Подождите, у меня ещё достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел.

Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукою.

При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой.

Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил.

Дантес упал...



Данзас с д'Аришаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошёл пешком подле саней, вместе с д'Аришаком; раненый Дантес ехал в своих санях за ними. Раненый Пушкин упал на шинель Данзаса, который сохранил окровавленную подкладку.

У Комендантской дачи они нашли карету...

Данзас посадил в неё Пушкина, сев с ним рядом, поехал в город.

Во время дороги Пушкин держался довольно твёрдо; но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны... Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставления Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось.

Пушкин жил на Мойке, в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просит Данзаса выйти вперёд, послать людей вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить её и сказать, что рана неопасна. В передней люди сказали Данзасу, что Натальи Николаевны не было дома, но, когда Данзас сказал им, в чём дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Данзас через столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошёл прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну, она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся.

Данзас сказал ей сколько мог покойнее, что муж её стрелялся с Дантесом что хотя ранен, но очень легко.

Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках...

Перед вечером Пушкин, подозвав Данзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заёмных писем.

*Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память.*

*Вечером ему сделалось хуже. В продолжение ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящичков письменного стола; человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящичке были пистолеты, предупредил Данзаса.*

*Данзас подошёл к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло; отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы...»*

### ***XXXI. ТУДА, В ТОЛПУ ТЕНЕЙ РОДНЫХ...***

*И где мне смерть пошлёт судьбина?*

*В бою ли, в странствии, в волнах?*

*Или соседняя долина*

*Мой примет охладельный прах?*

*И хоть бесчувственному телу*

*Равно повсюду истлевать,*

*Но ближе к милому пределу*

*Мне всё б хотелось почивать...*

Последней просьбой смертельно раненного поэта было — чтобы не наказывали секунданта, лицейского друга Константина Данзаса — «ведь он мне брат».

«Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского», — сказал умирающий Пушкин Данзасу.

Фёдор Матюшкин, моряк, капитан 1-го ранга, из Севастополя: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?»

Действительно, как допустили? Иван Пущин до конца дней был уверен, что, живи он в столице, не допустил бы: «Если бы при мне должна была случиться несчастная его история... я бы нашёл средство сохранить поэта-товарища, достояние России».

Близкие друзья в Петербурге не сумели ничего предотвратить — они любили Пушкина, но, наверное, надо было ещё сильнее любить, как Матюшкин, Пущин.

*«Знакомых тьма, — а друга нет!»*

Пройдут недели, и в петровскую каторжную тюрьму возвратится из петербургской командировки один из служащих там, плац-адъютант Розенберг: Пущин давал ему разные письма и поручения к родным и, естественно, *«забросал вопросами»*:

*«Отдав мне отчёт на мои вопросы, он с какой-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? Как он поживает? и пр. Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».*

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, — так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд.

Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. — Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере, но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его!»

Тогда же, в петровской тюрьме, зашёл спор — что стало бы с поэтом, если б он участвовал в заговоре и восстании 14 декабря?

Одни, среди них Сергей Волконский, находили, что Пушкин остался бы жив, и пусть в Сибири, но написал бы новые, замечательные творения. Однако *«первый друг»*, надо думать, лучше знал и чувствовал Пушкина: как ни горько было ему, но он утверждал, что десять-одиннадцать лет свободы, пусть неполной, призрачной, под надзором властей, но всё же свободы, — единственный путь для пушкинского таланта; что здесь, в Сибири, вольному поэту не выжить:

*«Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.*

*Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех, умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях».*

Кюхельбекер — за Байкалом, в лицейский день 19 октября 1837 года напишет поминанье:

*Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,  
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,  
В середине поприща побед и славы,  
Исполненный несокрушимых сил!  
Блажен! лицо его всегда младое,  
Сиянием бессмертия горя,  
Блестит, как солнце вечно золотое,  
Как первая эдемская заря.  
А я один средь чуждых мне людей  
Стою в ночи, беспомощный и хилый,  
Над страшной всех надежд моих могилой,  
Над мрачным гробом всех моих друзей.  
В тот гроб бездонный, молнией сражѣнный,  
Последний пал родимый мне поэт...  
И вот опять Лицея день священный;  
Но уж и Пушкина меж вами нет!  
Не принесѣт он новых песен вам,  
И с ним не затрепещут перси ваши;  
Не выпьет с вами он заздравной чаши;  
Он воспарил к заоблачным друзьям.  
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;  
Он ныне с Грибоедовым моим;  
По ним, по ним душа моя тоскует;  
Я жадно руки простираю к ним.  
Замолк голос Пушкина.*

С ним вместе погибли чудные замыслы, ненаписанные поэмы, незавершённая история Петра, неопубликованные повести, мемуары...

Рассказ о Пушкинском Лицее и лицеистах, продолжавшийся более четверти века, окончен...

И не окончен.

*Друзья мои, прекрасен наш союз,  
Он, как душа, неразделим и вечен...*

Пошли лицейские годы и десятилетия без Пушкина.

### ***XXXII. ПЕРВЫЕ 18 ЛЕТ***

Самые тяжёлые... Время — душное, тусклое: вторая, самая жёсткая половина николаевского царствования.

О Пушкине говорили — «ему могло бы сейчас быть 40... 45... 50...».

В эту пору декабристы, осуждённые по самому суровому, первому разряду, выходят наконец на поселение — и среди них *Большой Жанно*. Теперь наконец он и «по закону» может писать письма собственной рукой, — из маленького сибирского городка Ялуторовска идут сотни посланий на волю и обратно, и среди них, конечно же, лицейские.

Замечательная переписка завязывается между ссыльнопоселенцем и контр-адмиралом Матюшкиным.

Не виделись уж скоро двадцать пять лет, но те, первые шесть лет, видно, покрепче четвертьвековой разлуки.

Адмирал одинок, грустен, к тому же приближается Крымская война, и он понимает, что флот не готов, но ничего не может переменить.



*«Давно, давно с тобою не беседовали, любезный Ванечка... Много я странствовал, хлопотал, рвался, надеялся в эти двадцать лет — а всё ни к чему... Грустно, признаюсь: я тебе завидую — ты поставлен был насильственно в колесо жизни... А я избрал сам себе дорогу, — сам себя должен упрекать, что остался бездомным, хворым сиротою. Если бы не дружба старых товарищей, я был бы совершенно отчуждён от мира, с ними как-то иногда забывается, что я, и что у меня впереди... Не дивись, что немного хандрю, но полно. Наши почти все теперь в Петербурге, все они смотрят в великие люди, всех их грызёт более или менее червь честолюбия. Я поневоле сделался философом; но ты видишь, что и моя философия спотыкается... Матюшкин твой.*

*Ивану Ивановичу.*

*Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас. Дельвига нет более и многих не досчитываем».*

Грустными строками оканчивает послание Федернелке; печальной строчкой из прощальной песни Дельвига.

И вот ссыльный из Западной Сибири утешает, поднимает дух моряка:

*«Позволь тебе заметить, хотя и немного поздно, что в твоём письме проглядывает что-то похожее на хандру: а я воображаю тебя тем же весёлым Федернелке, каким оставил*

тебя в Москве,-помнишь, как тогда Кюхельбекер Вильгельм танцевал мазурку и как мы любовались его восторженными движениями. Вот куда меня бросило воспоминание.

Веришь ли, что, бывало, в алексеевском равелине, — несмотря на допросы, очные ставки и все прибаутки не совсем забавного положения, я до того забывался, что, ходя диагонально по своему пятому номеру, незаметно подходил к двери и хотел идти за мыслью, которая забывала о замке и страже. Странно тебе покажется, что потом в Шлиссельбурге (самой ужасной тюрьме) я имел счастливейшие минуты. Как это делается, не знаю. Знаю только, что эта сила и поддерживала меня и теперь поддерживает. Часто говорю себе: «чем хуже — тем лучше». Не всеми эта философия признаётся удобной, но, видно, она мне посылается свыше. Хвала богу!»

Между строками живого, весёлого рассказа видно, однако, чего стоит это веселье Ивану Ивановичу.

«Пора бы за долговременное терпение дать право гражданства в Сибири, но, видно, ещё не пришёл назначенный срок. Между тем уже с лишком половины наших нет на этом свете. Очень немногие в России — наша категория ещё не тронута. Кто больше поживёт, тот, может быть, ещё обнимет родных и друзей зауральских. Это одно моё желание, но я это с покорностью предаю на волю божию...

Как бы тебе опять отправиться описывать какой-нибудь другой мыс Матюшкин, — тогда бы и меня нашёл — иначе вряд ли нам встретиться».

Мыс Матюшкин действительно есть на карте: выясняется, что в Сибири Пущин следит за жизнью и делами друга очень внимательно, всё знает по письмам Егора Антоновича.

«Какой же итог всего этого болтания? Я думаю одно, что я очень рад перебросить тебе словечко,— а твоё дело отыскивать меня в этой галиматье. Я совершенно тот же бестолковый, неисправимый человек, с той только разницею, что на плечах десятка два с лишком лет больше...

Обними всех наших сенаторов и других чинов людей».

Но не таков Иван Иванович, чтоб просто писать о прошлом: тут же и дело: он, как всегда, как везде, хлопочет за сибирских друзей, старается помочь из своего скудного бюджета,

со всей Сибири ему шлют просьбы, вопросы, спрашивают совета — и он, посмеиваясь, отправляется «маремьянствовать» (словечко в честь блаженной Маремьяны-старицы, будто бы помогавшей всем бедным и несчастным). В первом же письме Матюшкину отправляется целое задание — отыскать Мишу, сына Кюхельбекера, посланного к тётке после смерти отца: *«Мальчик с дарованиями, только здесь был большой шалуни. — Теперь, говорят, исправился. — Скажи ему, что я тебя просил на него взглянуть»*.

Большой Жанно так усердствует за других, что друзья, адмирал и «сенаторы» необыкновенно удивлены, когда вдруг (неслыханное дело!) — приходит просьба от Пущина самого; у Ивана Ивановича растёт дочь Анна, которая мечтает учиться музыке — и вот обращение к Матюшкину:

*«Хочется мне ей подарить хороший инструмент, а денег брат Михайло обещал в будущем году прибавить. Следовательно, если ты можешь купить фортепиано и послать с зимними обозами в Тюмень, то мне сделаешь великое одолжение... Не взыщи, что я с тобой говорю без оглядки. Прошу только об одном: если нельзя, то сделай как будто я и не говорил тебе о теперешнем моем желании. Чтоб моя просьба ни на волос тебя не затрудняла. При всём моем желании добыть фортепиано, можно и повременить. Я пишу, как будто говорю с тобой. Нужна большая доверенность, чтоб заочно так говорить. В будущем году этот долг уплотится. Вот вся история»*.

Но тут уж петербургские друзья «отомстили» — все сложились (и Корф участвовал!) и послали медленной дорогой в Западную Сибирь отличный инструмент — в подарок:

*«Вы меня так балуете, добрые друзья, что я, право, не знаю, как вам высказать мою сердечную, глубокую признательность. Заставить Модеста без очков этот листок прочесть. Отрадное чувство моё вам понятно без лишних возгласов, потому что вы, действуя так любезно, заставляете меня забывать скучные расчёты в деле дружбы. Принимаю ваш подарок с тем же чувством, с которым вы его послали мне, далёкому. Спасибо вам, от души спасибо! Разделите между собой мой признательный крик, как я нераздельно принимаю ваше старое*



лицейское воспоминание. Фортепиано в Сибири будет известно под именем лицейского; и теперь всем слушающим и понимающим высказываю то, что отрадно срывается с языка. — Аннушка вместе с музыкой будет на нём учиться знать и любить старый Лицей! Теперь она лучше прочтёт нашу лицейскую песнь, которую знает наизусть!

Всё сохранно дошло — очень нарядный инструмент, о звуке будет речь после. Не может быть, чтобы не было отличное фортепиано, когда выбирал его Яковлев, наш давнишний певец. Если б вы знали, как всё это перенесло меня в ваш круг. Забываю, что мильон лет мы расстались. Кажется, как будто вчера отправился в Сибирь отыскивать что-то такое. Ты прежде меня здесь был, но, видно, скорей можно возвратиться из экспедиции для описания полярных стран, нежели из той, которой до сих пор нельзя описать. Я всем говорю, что я сослан при Петре, и всё удивляются, что я так молод.

*Большой Jeannot*

*Мильон bonmots*

*Без умыслу проворит.*

Эти строки из нашей песни пришли мне на мысль, отправляя к тебе обратно мой портрет с надписью. Отпустить шутку случается и теперь — слава богу, иначе нельзя бы так долго прожить на горизонте не совсем светлом. Не помнишь ли ты всей песни этой? Я бы желал её иметь.

Обними твоего сожителя, обними сенаторов-соседей, обними всех».

Подписано послание просто:

*«N13 в Лицее.*

*N14 в Петровском».*

Но Жанно не может успокоиться, и ещё в следующих письмах всё благодарит, шутит насчёт подарка: подробно рассказав, как ахнула Аннушка, тронув клавиши, как явились «на музыку» все товарищи по ссылке, как молодёжь даже «повертелась» под новое фортепиано, Пущин заключает:

*«Одним словом, ура Лицею старого чекана! Это был вечером тост при громком туше. Вся древность наша искренно разделила со мной благодарное чувство моё; оно сливалось необыкновенно приятно со звуками вашего фортепиано. Осушили*

бокалы за вас, добрые друзья, и за нашего старого директора. Желали вам всего отрадного; эти желания были так задушевные, что они должны непременно совершиться.

Когда будешь ко мне писать, перебери весь наш выпуск по алфавитному списку. Я о некоторых ничего не знаю.

Где Броглио, где Тырков?

Помоги Тыркову чёрты:

Он везде ноль и четвёртый!

Мне бы хотелось иметь в резких чертах полные сведения о всех. Многих уже не досчитываемся.

Пушкина последнее воспоминание ко мне 13 декабря 826 года: «Мой первый друг и пр.» — я получил от брата Михайлы в 843-м году собственной руки Пушкина. Эта ветхая рукопись хранится у меня как святыня. Покойница А.Г. Муравьёва привезла мне в том же году список с этих стихов, но мне хотелось иметь подлинник, и очень рад, что отыскал его.

Когда-нибудь надобно тебе прислать послание к нам всем:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье — и пр.

На это послание есть ответ Одоевского нашего, который тоже давно не существует — умер на Кавказе. Может быть, всё это тебе известно».

Нет Броглио, нет Тыркова, нет Кюхли, погиб Пушкин... Но ещё держится старый Лицей, и почти в каждом пушкинском письме — «жив Чурилка!».

«Как быть. Грустно переживать друзей, но часовой не должен сходить со своего поста, пока нет смены».

Меж тем гром событий — всё сильнее, он доносится и в самые глухие уголки... Крымская война, Севастополь; повсеместно разговор о бездарности, неспособности того царя, тех правителей, которые тридцать лет мстят горстке умнейших, лучших людей. Последние декабристы переживают горечь военного поражения, но ждут перемен...

И вот умирает Николай I.

Подул свежий ветер... Для лицейских героев нашего повествования всё это имеет важные последствия: Пушкина выпускают в свет — первое научное издание, выполненное Пав-

лом Анненковым, куда вошли многие сочинения и библиографические сведения, прежде совершенно запретные.

Пущина и его друзья собираются выпустить из Сибири.

Горчакова сразу же извлекают из небытия. Дипломатия его шефа Нессельроде потерпела полный крах, Крымская война проиграна, Россия изолирована, срочно нужны настоящие, а не лакированные дипломаты, способные делать дело. Пятидесяти-семилетнего Горчакова неожиданно делают послом в Вене, где он блестяще нейтрализует Австрию у финиша Крымской войны; затем новый император приглашает его в Петербург, и апрельским днём 1856 года князь выходит из царских апартаментов министром иностранных дел России (а потом и канцлером).

Был славный обычай: когда некто становился министром, секретная полиция подносила ему подарок — вручала дело, заведённое на него в прежние времена. Один из старых сановников возмущался назначением Горчакова: *«Как можно делать министром человека, знавшего заранее о 14 декабря!»* (Что-то пронюхали о беседах с Путиным?) Но царь уж распорядился, дело же изъято, и в нём, видно, Горчаков вычитал про себя: *«...не любит Россию...»*

Много лет спустя престарелый канцлер утверждал: *«Моему совету государю Александру Николаевичу обязаны декабристы полным возвращением тех из них, которые оставались ещё в живых в 1856 году»*. Конечно, тут преувеличивается роль одного советника в таком деле — об амнистии говорили и писали многие и в России, и за границей, и при дворе; но Горчаков, на исходе пятого десятка вдруг сделавшийся одной из главных персон в государстве, конечно, знал не только внешнюю дипломатию, но и придворную. Слова о несчастных, старых, более не опасных людях были, вероятно, произнесены им вовремя. Разумеется, министр не мог притом не подумать о Кюхле, Жанно и не вспомнить длинный ряд поступков, которыми был вправе гордиться перед лицейскими: встреча с Пушкиным в 1825-м, попытка помочь Пушину 14 или 15 декабря, независимая служба, ответ Бенкендорфу...

26 августа 1856 года в Москве, на коронации нового царя, присутствовали, между прочим, брат декабриста и друг семьи Путиных, прославленный генерал Николай Муравьёв-Карский,

а также состоящий при нём крестник Пушкина и сын декабриста — Михаил Волконский.

Вскоре Пущин запишет: *«3 сентября был у нас курьер Миша, вестник нашего избавления. Он прискакал в семь дней из Москвы. Николай Николаевич человек с душой! Возвратись с коронации, в слезах обнял его и говорит, скажи за отцом... Спасибо ему!»*

Три четверти товарищей не дождались амнистии и остались в сибирской или кавказской земле. Немногие возвратились без права надолго задерживаться в столицах...

*Лицейские, ермоловцы, поэты,  
Товарищи! Вас подлинно ли нет?..*

### ***XXXIII. НО ТЕНЬ МОЮ ЛЮБЯ...***

*...Храните, рукопись, о други, для себя!  
Когда гроза пройдёт, толпою суеверной  
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,  
И, долго слушая, скажите: это он;  
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,  
Взойду невидимо и сяду между вами,  
И сам заслушаюсь, и вашими слезами  
Упьюсь...*

Это стихи 1825 года, написанные как бы от имени Андре Шенье, поэта, погибшего тридцатью годами раньше. Но уж таков Пушкин: не было ни одного из его героев, в которого бы не была вложена хоть частица его души, ума, страсти — *«и сам заслушаюсь»* — это ведь он, Пушкин, заслушивается вместе с теми, кто его не забудет...

В декабре 1856 года больной и, как обычно, весёлый, бодрый Пущин вновь увидел Москву, из которой выехал 372 месяца назад.

Проходит ещё немного времени, Пущину разрешили ненадолго приехать в столицу. 8 января 1857 года он написал очень интересное письмо старому другу — декабристу Евгению Оболенскому:

*«В Петербурге... 15 декабря мы в Казанском соборе без попоа помолились и отправились к дому на Мойку. В тот же день лицейские друзья явились. Во главе всех Матюшкин и Дан-*

*зас. Корф и Горчаков, как люди занятые, не могли часто видеться, но сошлись как старые друзья, хотя разными дорогами путешествовали в жизни... Все встречи отрадны и даже были те, которых не ожидал. Вообще не коснулись меня петербургские холода, на которые все жалуются. Время так было наполнено, что не было возможности взять перо».*

В письме этом много смысла.

15 декабря 1856-го: миновал тридцать один год и один день после того 14 декабря. Кто это «мы», которые пришли в Казанский собор? Очевидно, Пущин с братом и, возможно, ещё кто-то из возвратившихся. Молитва старых людей в громадном соборе без попа, недалеко от того места, в тридцать первую годовщину события, изменившего их жизнь, но не переменившего Россию...



Пущин остановился в Петербурге, на Мойке, у родственников, но, разумеется, знал, что на этой же улице была последняя квартира Пушкина:

*«В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У.К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда*

*ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить её за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского!»*

*Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошёл до меня с лишком через 20 лет!...*

*Дай бог, чтоб я, с друзьями*

*Встречая сотый май,*

*Покрытый сединами,*

*Сказал тебе стихами:*

*Вот кубок, наливай!*

*Веселье! будь до гроба*

*Сопутник верный наш,*

*И пусть умрём мы оба*

*При стуже полных чаи!*

1857 год... Двадцать лет без Пушкина. Меж тем лицеисты почти ничего ещё о нём не записали, исключением были небольшие заметки Комовского и довольно злобные, необъективные строки Корфа: может быть, действительный тайный советник оттого и злился, что лучшее его время миновало?

А молодёжь Пушкина читает всё больше, стариков лицейских заставляют рассказывать о нём, записывать; общее весёлое воодушевление захватывает и пушкинских товарищей: Яковлеву, Матюшкину, Данзасу, Малиновскому вдруг кажется, что не было тяжкого николаевского тридцатилетия, что после 1825 года «сразу 1856-й», и «номер четырнадцатый», он же *Француз* и *Егоза*, возвращает всем их прекрасную общую молодость...

Вот в этой-то обстановке, по настоянию друзей и по чувству высокого внутреннего долга, тяжелобольной Иван Иванович Пущин, кому остаётся едва год жизни, берётся за свои знаменитые записки о Пушкине.

В каждодневных письмах к уехавшей в Петербург жене тема Записок появляется 25 февраля 1858 года.

**25 февраля:** *«Сейчас писал к шаферу нашему (Ф. Ф. Матюшкину) в ответ на его лаконическое письмо. Задал ему и сожителю мильон лицейских вопросов. Эти дни я всё и думаю и пишу о Пушкине... Я просил адмирала с тобой прислать мне*

*просимые сведения. Не давай ему лениться — он-таки ленив немножко, нечего сказать...»*

К сожалению, письмо Пушкина к Матюшкину и жившему с ним вместе на одной квартире Яковлеву не обнаружено (по переписке видно только, что оно пришло около 10 марта 1858 года) оно могло бы многое дать для проникновения в «технологию» пушкинских воспоминаний.

Через три дня, **1 марта**, Пушкин сообщает о продолжении черновой («карандашом») работы над Записками:

*«Я теперь всё с карандашом — пишу воспоминания о Пушкине. Тут примешалось многое другое, и, кажется, вздору много. Тебе придётся всё это критиковать и оживить. Мне так кажется вяло и глупо. Не умею быть автором.*

*Всё как бы скорей услышать крик ребёнка, воскресить его, а с этой системой вряд ли творятся произведения для потомства!...»*

*«Многое другое», — мы знаем, что подразумевал декабрист: свою собственную личность, за «вторжение» которой он будет извиняться и в начале Записок: Пушкина сильно беспокоит старинное, с лицейских времён, скромное мнение о собственных литературных дарованиях, и понятно, ему было важно сознание, что статья пишется не для печати.*

Посмеиваясь над самим собой, Пушкин снова передаёт просьбы, обращается к лицейским друзьям:

*«Ещё хотел тогда просить тебя, чтобы отобрала от шафера сведения (в дополнение к тем, которые от него требую): не помнит ли он или Яковлев, когда Пушкин написал известные стихи в альбом Елизаветы Алексеевны? Мне кажется, что она ему ещё в Лицее прислала после этого в подарок часы, а Анненков (П.В. Анненков — известный пушкинист) относит в своём издании эту пьесу к позднему времени. Вот тебе совершенно неожиданное поручение. Не смейся, пожалуйста, надо мной! Позволяю только моргнуть на меня, когда будешь об этом толковать с Матюшкиным, который, верно, почитает меня за сумасшедшего...»*

Отрывок о Елизавете Алексеевне с уточняющим примечанием о дате написания стихов появился в первом издании Запи-

сок Пушкина, и ясно, что этот текст декабрист отрабатывал как раз в марте 1858 года.

После того работа продолжается весной 1858 года, но прерывается в июне путешествием Ивана Ивановича в Нижний Новгород.

Оттуда сообщает жене (**2 июня**):

*«Навестил Даля (с ним побеседовал добрый час)...»*

Беседа с Далем отразилась на одной из последних страниц Записок:

*«В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провёл с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина прострелянный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке».*

В июле Пущин возвращается. В письме к декабристу Е. Оболенскому от **20 июля 1858** года он рисует весьма примечательную сцену:

*«Мне удалось в Москве уладить угощение в Новотроицком трактире, на котором присутствовали С. Г. Волконский, Матвей Муравьёв-Апостол и братья Якушкины.*

*Раненых никого не было, и старый собутыльник Пушкина и компании был всем любезен без льдяного клико, как уверяли добрые его гости. С. Г. даже останавливал при некоторых выпадах, всматриваясь в некоторые лица, сидевшие за другими столами с газетами в руках. Другие времена — другие нравы!»*

За кратким шутивным описанием мы угадываем подробности необыкновенной встречи необыкновенных людей в необыкновенное время; для некоторых — например, Пушкина и Волконского — это свидание последнее... И видимо, разговор о «льдяном клико» вызвал тень Александра Сергеевича (ведь «клико» Пущин захватил с собою, когда ехал в Михайловское на последнее свидание с поэтом).

Рассматривая беловую рукопись воспоминаний Пушкина, завершённую в конце июля — начале августа 1858 года, находим поправки и зачёркивания, сделанные более тёмными чернилами, судя по всему, — на последнем этапе работы.

В одном месте Пущин задумывается: *«Воспоминания о человеке, мне близком с самой нашей юности»*, зачёркивает слово «юности» и пишет: *«с детства»*.



По многим другим поправкам видно нежелание Пушкина слишком «выдвигать» свою персону, боязнь категорических оценок. Написано сначала — *«чтоб полюбить (Пушкина) настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое неразлучно со снисхождением к неровностям характера»*: Пушкин убирает слово «снисхождение» (получалось, будто он «снисходит») и пишет о *«благорасположении», «которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже их в друге-товарище»*.

Когда зашла речь об известном эпизоде с уроком стихосложения, Пушкин хотел начать: *«Мой стих никак...»*, но испугался появления своей фигуры: *«Наш стих никак...»*

Примечательны поправки в рассказе о тайном обществе: было — *«не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлѣк бы его (Пушкина) с собою»*.

Вместо выделенных нами слов первоначально было *«не присоединил бы его к моей участи»* — но это слишком категорическое заявление снято; оно возникнет в конце рукописи, когда Пушкин рассуждает о возможной судьбе поэта, если б он попал в тайное общество; появление подобных слов в начале Записок ещё раз показывает, как занимала декабриста мысль о закономерном или случайном стечении обстоятельств в жизни друга. Написав *«Пушкин часто меня сердил...»*, автор счёл нужным написать поверх строки: *«Пушкин, либеральный по своим воззрениям (здесь — вольный, свободный), имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру»*.

Как видно, поправки идут по линии уточнения существенных, деликатных деталей; в чём Пушкин проявляет широту понимания и тонкость чувства.

По виду рукописи и отчёркиванию, обозначающему конец сочинения, создаётся впечатление, что Пушкин завершил работу словами: *«Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях»*.

Затем, однако, после отчёркивания, теми же чернилами, последовало: *«Ещё пара слов»* (как бы постскрипtum рассказа)

— из бесед с Далем и Данзасом о «последнем вздохе» Пушкина. В самом конце самая последняя пометка — *«село Марьино, август 1858»*.

Через 8 месяцев, 3/15 апреля 1859 года Ивана Пущина не стало.



Окончилась жизнь *Большого Жанно*, Ивана Ивановича Пущина: тринадцать лет беззаботного детства, шесть лет Лицея, восемь лет службы и одновременно участие в тайных обществах, тридцать один год тюрьмы и ссылки да три года без малого в подмосковной усадьбе жены, без права постоянного жительства в столицах. Когда-то Пушкин желал ему встретить с друзьями *«сотый май»*. Ивану Ивановичу не хватило месяца до 61-го...

## XXXIV. У ПАМЯТНИКА

*Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к началу своему...  
Кому ж из нас под старость день Лицея  
Торжествовать придётся одному?*

Вопрос этот, заданный михайловской осенью 1825 года, к счастью, не имел ответа и в 1870-х годах. Ещё здравствуют несколько друзей, сильно озабоченных тем, чтобы ещё больше, ещё сильнее любили незабвенного их поэта, весёлого *Француза*, № 14.

Пожилой адмирал Матюшкин первый воскликнет, что нужно памятник поэту ставить в Москве — на родине. И начнётся всероссийский сбор денег.

Дело было непростое и долгое — у лицейских же первого выпуска, чугунников, — времени немного. Яковлев умирает в 1868 году, Мясоедов — в 1868-м, Данзас — в 1870-м, Матюшкин — в 1872-м, Малиновский — в 1873-м, Корф — в 1876-м.

*«Наш круг час от часу редееет»* — было сказано ещё пятьдесят лет назад.

19 октября 1877-го, в шестидесятилетие первого выпуска, телеграмму Горчакову от имени первых семи курсов подписал Сергей Комовский.

*Лисичка* — Комовский и *Франт* — Горчаков, последние два. *«Кому ж... день Лицея торжествовать придётся одному?»*

Кому доведётся увидеть памятник? Памятник Пушкину в Москве. Наверное, он отметил историческую грань, до которой ещё говорили: «Пушкину было бы 60... 70...» Отныне иные слова: «Пушкину исполнилось бы... 150... 175 лет...»

Памятник: проект его, представленный скульптором Опекушиным, обсуждается многими. Наверное, странно и страшно видеть памятник однокласснику, с кем проказничал и веселился. Возможно, эти чувства охватили восьмидесятилетнего Комовского, когда он отозвался:

*«Как ни рассматривал я со всех сторон, ничего напоминающего — никакого восторженного нашего поэта я, к сожалению, не нашёл вовсе в какой-то грустной, поникшей фигуре, в*

которой желал изобразить его потомству почтенный художник».

Комовский не знал и знать не хотел грустного и поникшего Пушкина.

*И славен буду я, доколь в подлунном мире*

Жив будет хоть один пиит...

В 1880 году происходят большие пушкинские торжества: открытие «рукотворного памятника» в Москве.

Знаменитые речи Достоевского, Тургенева... Все дети Пушкина присутствуют на празднествах.

Перед отъездом в Москву, на пушкинские дни, академик-лицеист Грот получил аудиенцию у восьмидесятидвухлетнего министра Горчакова.

Грот:

*«Он был не совсем здоров; я застал его в полулежачем положении на кушетке или длинном кресле; ноги его и нижняя часть туловища были окутаны одеялом. Он принял меня очень любезно, выразил сожаление, что не может быть на торжестве в честь своего товарища, и, прочитав на память большую часть послания его —»Пускай, не знаясь с Аполлоном...», распространился о своих отношениях к Пушкину. Между прочим, он говорил, что был для нашего поэта тем же, чем кухарка Мольера для славного комика, который ничего не выпускал в свет, не посоветовавшись с нею; что он, князь, когда-то помешал Пушкину напечатать дурную поэму, разорвав три песни её; что заставил его выбросить из одной сцены Бориса Годунова слово «слюни», которое тот хотел употребить из подражания Шекспиру; что во время ссылки Пушкина в Михайловское князь за него поручился псковскому губернатору... Прощаясь со мною, он поручил мне передать лицеистам, которые будут присутствовать при открытии памятника его знаменитому товарищу, как сочувствует он оконченному так благополучно делу и как ему жаль, что он лишён возможности принять участие в торжестве».*

Вот что сказал Горчаков. Но притом он не сказал академику, мечтавшему узнать хоть крупицу нового о Пушкине, что в его архиве хранится неизвестная озорная лицейская поэма «Мо-

нах» и ещё кое-что другое из Пушкина. Но академик Грот тоже не сказал лишнего, не потребовал томик Пушкина и не стал декламировать из пушкинской трагедии:

Девичье поле. Новодевичий монастырь. Народ просит Бориса принять царство.

Один.

*Все плачут.*

*Заплачем, брат, и мы.*

Другой.

*Я силюсь, брат.*

*Да не могу.*

Первый.

*Я также. Нет ли луку?*

*Потрём глаза.*

Второй.

*Нет, я слюней помажу.*

*Что там ещё?*

Первый.

*Да кто их разберёт?*

Народ.

*Венец за ним! Он царь! Он согласился!*

*Борис наш царь! Да здравствует Борис!*

Горчаков и Пушкин «перехитрили» друг друга. Если Пушкин до конца своих дней верил, что его поэма «Монах» уничтожена Горчаковым, — то сам министр был убеждён, будто поэт учёл его замечания по поводу «Бориса Годунова». Действительно, Пушкин обещал в 1825 году выбросить строку про «слюни» — и оставил, а Горчаков не узнал про обман. Первому слушателю «Бориса», видно, не довелось его прочесть.

Если б Горчаков лучше знал текст трагедии, то, возможно, воскликнул бы: «Ну вот, Александр, с ним всегда так — несерьёзен!»

Впрочем, посмертные беседы Пушкина с Горчаковым не обрываются и в 1880 году. Дело в том, что вскоре после открытия памятника в Москве умирает Комовский...

Пушкин не знал, кому посвящает последние строки «19 октября», а Горчаков, единственный из лицеистов — узнал:

*Кому ж из нас под старость день Лицея  
Торжествовать придётся одному?  
Несчастный друг! Среди новых поколений  
Доучный гость и лишний и чужой,  
Он вспомнит, нас и дни соединений,  
Закрыв глаза дрожащею рукой...  
Пушай же он с отрадой хоть печальной  
Тогда сей день за чашей проведёт,  
Как ныне я, затворник ваш опальный,  
Его провёл без горя и забот.*

Князь заслужил последнюю награду — ещё десять пушкинских строк. Министр с отрадой провёл не один, а многие дни — 1880-го, 1881-го, 1882-го, и так до 28 февраля 1883 года. Те дни, когда он был последним лицеистом.

19 октября 1811 года в Царском Селе близ Петербурга тридцать мальчиков сели за парты и стали одноклассниками. Через шесть без малого лет двадцать девять юношей обучатся, получат аттестаты.

Класс как класс, мальчишки как мальчишки, из которых выйдут поэты и министры, офицеры и «государственные преступники», сельские домоседы и неугомонные путешественники... В детстве и юности они читают повести и легенды о греческих и римских героях, а ведь сами ещё при жизни и вскоре после смерти становятся легендой, преданием...

*Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он как душа неразделим и вечен —  
Неколебим, свободен и беспечен,  
Срастался он под сенью дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина,  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,  
Отечество нам Царское Село.*

Тридцать мальчишек: вместе, в общей сумме, они прожили около полутора тысяч лет.

В том числе — неполных тридцать восемь пушкинских: меньше «одного процента».

Эти тридцать восемь — основа, фундамент истории полутора тысяч лицейских «человеко-лет»... Но как же без них, без остальных, развился бы не лучший ученик в первейшего поэта? Без их дружбы — разве Пушкин стал бы Пушкиным? Без их шуток, похвал, насмешек, писем, помощи, памяти? А они без него, без его мыслей, строчек, весёлости, грусти, без того бессмертия, которым он так щедро с ними поделился!



## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ .....	3
I. ГОРОД ЛИЦЕЙ НА 59 ГРАДУСЕ .....	7
II. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ .....	11
III. ОТКРЫТИЕ .....	17
IV. МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КЕЛЬЯ .....	21
V. НАСТАВНИКИ .....	26
VI. ПРОЗВИЩА .....	33
VII. ПЕРВЫЕ СТРОКИ .....	36
VIII. НИКОЛАЙ КОРСАКОВ .....	39
IX. 1812 ГОД .....	41
X. ПОБЕДЫ .....	46
XI. ДЕМОН МЕТРОМАНОВ .....	51
XII. КЮХЛЯ .....	56
XIII. ДЕЛЬВИГ .....	59
XIV. КАЗАК .....	64
XV. ГОГЕЛЬ-МОГЕЛЬ .....	68
XVI. СЛОВАРЬ И МУДРЕЦЫ .....	76
XVII. СТАРИК ДЕРЖАВИН .....	80
XVIII. ПОЛЮБИЛИ .....	85
XIX. ДУХ ЛИЦЕЙСКИХ ТРУБАДУРОВ .....	88
XX. ЛИЦЕЙСКИЕ, ЕРМОЛОВЦЫ, ПОЭТЫ .....	106
XXI. РАЗЛУКА У ПОРОГА .....	110
XXII. НА ШУМ ПИРОВ И БУЙНЫХ СПОРОВ .....	121
XXIII. ДРУЗЬЯМ ИНЫМ ДУШОЙ ПРЕДАЛСЯ НЕЖНОЙ .....	126
XXIV. ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО .....	129
XXV. СУДЬБА, СУДЬБА РУКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ .....	143
XXVI. НО КУДА ЖЕ? .....	145
XXVII. ВСЕМУ ПОРА .....	147
XXVIII. В СВОЁМ ВЕСЕЛИИ МРАЧНЕЕ .....	153
XXIX. ПРАЗДНОВАЛИ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ .....	158
XXX. СКАЖИ ВИЛЬГЕЛЬМ .....	166
XXXI. ТУДА, В ТОЛПУ ТЕНЕЙ РОДНЫХ .....	177
XXXII. ПЕРВЫЕ 18 ЛЕТ .....	180
XXXIII. НО ТЕНЬ МОЮ ЛЮБЯ .....	187
XXXIV. У ПАМЯТНИКА .....	194